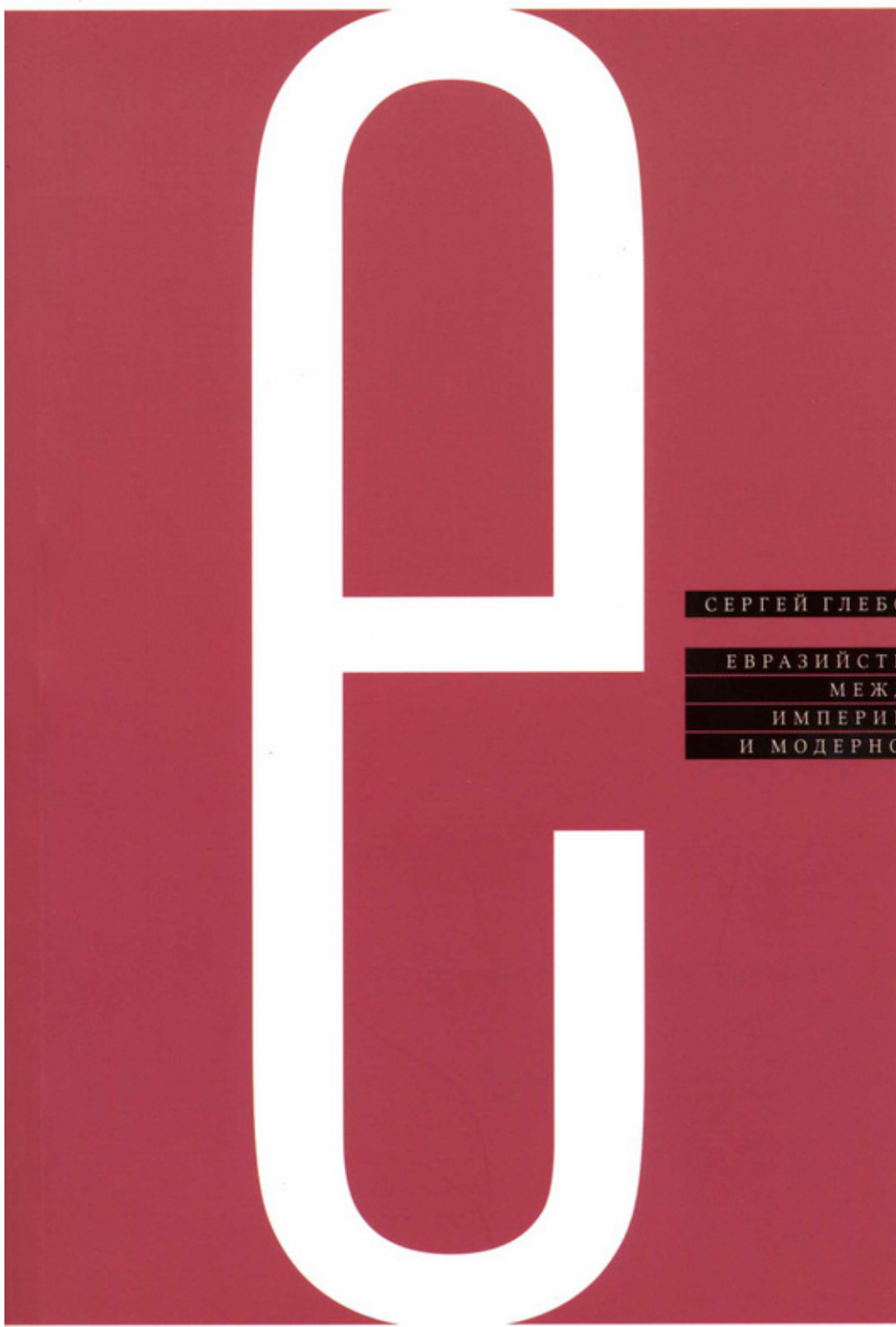




СЕРГЕЙ ГЛЕБОВ

ЕВРАЗИЙСТВО
МЕЖДУ
ИМПЕРИЕЙ
И МОДЕРНОМ

Сергей Глебов
Евразийство между империей и модерном

<http://litres.ru/>

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3118055

Евразийство между империей и модерном: История в документах: Новое издательство; Москва;
2010

ISBN 978-5-98379-135-0

Аннотация

Книга Сергея Глебова «Евразийство между империей и модерном» представляет научную публикацию переписки лидеров евразийского движения – писем Николая Трубецкого и Петра Арапова Петру Сувчинскому и писем Петра Савицкого Трубецкому. Переписка проливает свет на возникновение и развитие евразийского движения, его внутренние дебаты, отношение к различным интеллектуальным течениям первой трети XX века, связи с эмигрантскими организациями и Советским Союзом, проникновение секретных служб СССР в эмигрантскую среду и другие сюжеты политической жизни русской эмиграции 1920-х годов. Публикация писем снабжена подробными комментариями и пространством введением – очерком фактической и интеллектуальной истории евразийского движения, рассматривающим его в политическом, идеологическом и научном контексте межвоенной эпохи.

Содержание

Предисловие	4
I	7
1	7
2	11
Николай Сергеевич Трубецкой	12
Петр Петрович Сувчинский	17
Петр Николаевич Савицкий	20
Петр Семенович Арапов	23
3	26
4	35
5	44
Критика колониализма и спасение империи	44
Генеалогия ареальной мысли: от универсализма к партикуляризму	49
Культурные ареалы и критика модерна	52
6	56
В рамках новой парадигмы	56
Империя языка: лингвистика языковых союзов	61
Империя пространства: месторазвитие и системная география	65
7	71
Деньги и издательства	72
Евразийство и «Трест»	78
Евразийство как организация	82
Раскол	84
Примечания	88
1	88
2	90
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Сергей Глебов

Евразийство между империей и модерном: История в документах

Предисловие

В настоящий том вошли письма Н.С. Трубецкого и П.С. Арапова П.П. Сувчинскому за 1921–1928 годы, сохранившиеся в архиве Сувчинского в Национальной библиотеке Франции в Париже. Кроме того, в сборник включены письма Н.С. Трубецкого П.Н. Савицкому за 1923 год, которые хранятся в той же архивной коллекции и служат важным дополнением к корпусу писем Трубецкого Сувчинскому¹.

Возможно, многие историки поставят под сомнение правомерность публикации под одной обложкой документов, вышедших из-под пера столь разных людей: с одной стороны, всемирно известный ученый, один из основоположников структурализма, с другой – довольно «темная» личность, никому не известный офицер-эмигрант, ставший агентом ОГПУ и исчезнувший в советских лагерях. Тем не менее любая граница, прочерченная в истории евразийского движения между «классическим» евразийством (его научной составляющей) и подпольной политикой, искусственна. Историю евразийства можно рассказать, только если рассматривать политику, искусство и науку как составляющие единой идеологии. В этом смысле тексты Арапова, ключевой фигуры в контактах евразийцев с «Трестом» (фиктивной монархической организацией, созданной ОГПУ для «инфильтрации» в эмигрантскую среду), ничем не хуже и не лучше текстов Трубецкого и являются не менее важными документами для истории евразийского движения. Более того, поскольку Трубецкой переписывался и встречался не только с интеллектуалами, но и с людьми уровня Арапова, публикация писем последнего в одном томе с бумагами Трубецкого не должна выглядеть слишком экстравагантной.

Стили этих двух авторов, качество текстов, их интеллектуальные горизонты, условно, были очень различны. Их объединяло одно: оба они, как представляется, были достаточно близки с П.П. Сувчинским, чтобы позволить себе значительную долю откровенности. Для Трубецкого Сувчинский оставался одним из самых близких людей на протяжении практически всех 1920-х годов; Арапов, в свою очередь, являлся верным последователем идей Сувчинского, его духовным учеником. В силу этого публикуемые документы обладают уникальным свойством: они проливают свет на весьма сложные взаимоотношения внутри евразийского движения, демонстрируют, какие проблемы были особенно важны для его участников. Учитывая, что официальные евразийские публикации подвергались весьма серьезной редактуре и внутреннему цензурированию, роль этих документов неоценима в деле реконструкции, описания и критики феномена евразийства.

Стоит отдельно остановиться на происхождении публикуемых документов. Все они хранятся в огромной архивной коллекции П.П. Сувчинского в Департаменте музыки Национальной библиотеки Франции в Париже. Напомним, что в конце 1924 года Сувчинский переселился в Париж, где и жил до самой смерти в 1985 году. В 1960-х годах Сувчинский, уже пожилой человек, пытался продать свой архив и вел переговоры на эту тему с Гарвардским

¹ Вопрос о том, каким образом письма Н.С. Трубецкого к П.Н. Савицкому оказались в архиве П.П. Сувчинского, остается открытым. Вполне вероятно, что они попали к последнему от самого П.Н. Савицкого – еще до начала периода напряженных отношений между двумя лидерами евразийства.

университетом (посредником в этих переговорах выступал Роман Якобсон, а оценивать коллекцию приезжал известный историк Ричард Пайпс²), но сделка не состоялась, поскольку Сувчинский не был удовлетворен предложенной ему суммой (10 000 долларов, тогда как он оценивал архив в 30 000). После смерти Сувчинского в 1985 году его вдова, Марианна Львовна Сувчинская, передала значительную часть архива известному поэту Вадиму Козовому, а другую – в Департамент музыки Национальной библиотеки Франции. Предполагалось, что Козовой осуществит публикацию материалов архива Сувчинского, но до своей смерти в 1999 году он сумел напечатать лишь малую часть архивной коллекции – переписку Сувчинского и Пастернака. Несмотря на то что в литературе часто встречаются ссылки на копии отдельных писем из архива (в частности, письма Трубецкого к Сувчинскому скопировал с хранившихся у Козового бумаг Владимир Аллой), эти документы так и не были введены в научный оборот. После смерти Козового его вдова передала остававшуюся у нее часть архива Сувчинского в Национальную библиотеку, где он и хранится сейчас.

Эпистолярная часть архива Сувчинского в Национальной библиотеке Франции впечатляет даже не столько количеством единиц хранения, сколько разнообразием корреспондентов. В архиве находится его переписка с И.Ф. Стравинским и С.С. Прокофьевым, Д.П. Святополк-Мирским, Л.П. Карсавиным и Н.С. Трубецким, Б.Л. Пастернаком, Мариной Цветаевой, М.В. Юдиной, Максимом Горьким, советскими музыковедами и итальянскими футуристами, философами Ж. Деррида и Ю. Кристевой, звездой мюзиклов В. Дукельским (Vernon Duke) и художником П. Челищевым. Для истории собственно евразийства коллекция Сувчинского является уникальным источником, поскольку дает представление о развитии этого движения не только с точки зрения ортодоксальных евразийцев, но и с точки зрения его участников с крайне левыми взглядами. Кроме того, сохранившиеся у Сувчинского документы проливают свет на финансирование движения и его контакты с советскими спецслужбами.

При работе над настоящей книгой использовались архивные коллекции Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Центрального исторического архива города Москвы (ЦИАМ), Бахметьевского архива Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), Отдела редких книг и рукописей библиотеки Файерстоун Принстонского университета (Принстон, США). В публикуемых письмах орфография и пунктуация были приведены к современным стандартам; при этом публикатор стремился к сохранению некоторых индивидуальных особенностей пунктуации.

Публикация настоящих документов является частью многолетнего проекта по изучению истории евразийского движения. Во время работы над этим проектом многие люди оказывали мне самое разнообразное содействие. В течение пяти лет работы над диссертацией по истории евразийского движения в Университете Ратгерс (Нью-Джерси, США) профессор Сеймур Беккер был для меня примером интеллектуальной честности – и остается таковым и сейчас. Я хотел бы поблагодарить коллег, с которыми мне довелось обсуждать историю евразийства – как лично, так и на различных конференциях: Давида Схиммельпеннинка ван дер Ойе, Марка Бэссина, Илью Виньковецкого, Марлен Ларюэль, Ольгу Майорову, Штефана Видеркейра, Мартина Байссвенгера, Веру Тольц, Чарльза Хальперина, Харшу Рэма и многих других. Моя особая благодарность – Патрику Серио и ныне покойному Марку Раеву, беседы с которыми были для меня чрезвычайно полезны. Таня Чеботарева из Бахметьевского архива при Колумбийском университете и Габриэль Суперфин из Института Восточной Европы при Университете Бремена оказали мне неоценимую помощь в навигации по архивам «зарубежной России». В Париже г-жа Мари Аврил и г-жа Элизабет Виллатт содействовали мне в

² См. переписку Р.О. Якобсона и П.П. Сувчинского за 1951 год: *Bibliothèque National de France. Département de Musique* [далее – BNF. DdM.]. 0092 (21).

работе над архивными коллекциями Национальной библиотеки. Мой самый большой долг – перед моими коллегами по журналу *Ab Imperio*: Ильей Герасимовым, Мариной Могильнер, Александром Семеновым и Александром Каплуновским, с которыми меня объединяют не только взгляды на историю Российской империи, но и дружба длиной в десятилетие. Мое понимание истории евразийства сформировалось под влиянием их идей и работ и наших дискуссий о новой имперской истории России и Евразии. Без участия Ильи Герасимова эта публикация не увидела бы свет, и я глубоко благодарен ему не только за организацию работы и редактуру, которые он вынес на своих плечах, но и за интеллектуальную щедрость, постоянную готовность поделиться своей интерпретацией материала и обсудить мою. Разумеется, все ошибки и недочеты этого издания относятся на мой счет.

Корректурное примечание. Когда работа над настоящим изданием была окончена, нам стало известно о выходе в свет книги: *Трубецкой Н.С. Письма к П.П. Сувчинскому, 1921–1928*. М.: Русский путь, 2009, подготовленной К.Б. Ермишиной на основе копий В.Е. Аллоя.

I

Евразийство между империей и модерном

1

Начало

Осенью 1920 года многие подданные бывшей Российской империи, рассеянные по различным странам Европы, с тревогой вчитывались в военные сводки из Крыма, публиковавшиеся парижскими «Последними известиями» – самой популярной газетой эмиграции. Положение врангелевских войск становилось все более шатким. Гражданская война в Европейской России подходила к концу. 18 августа того же года в одном номере со знаменитой статьей Б.Э. Нольде о «зарубежной России»¹, среди военных сводок, в кратком и неприметном сообщении «Последних известий» из Болгарии упоминалось, что князь Николай Сергеевич Трубецкой получил место доцента – преподавателя языкознания – в Софийском университете.

По воле судьбы в это время в болгарской столице оказалось несколько недавно эмигрировавших из России молодых людей, которые обнаружили между собой много общего. Кроме Трубецкого, в эту группу входили князь Андрей Александрович Ливен, Петр Петрович Сувчинский и Георгий Васильевич Флоровский. Сувчинский совместно с Н.С. Жекулиным и Р.Г. Молловым основал в Софии Русско-Болгарское книгоиздательство. Одной из первых его публикаций стала книга Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» – манифест антиевропеизма, обвинявший европейскую цивилизацию в колониальной агрессии против всего человечества.

Андрея Ливена связывали дружеские контакты с еще одним молодым ученым – учеником П.Б. Струве по петроградскому Политехническому институту Петром Николаевичем Савицким. В начале осени 1920 года Савицкий находился в Крыму, где работал в Департаменте внешних сношений правительства генерала Врангеля, а в ноябре эвакуировался в Константинополь. Именно там он получил письмо от Ливена, который сообщал ему о «евразийской» группе в Софии и планах по изданию «евразийской» литературы. Как писал Ливен, «Трубецкому поручено составление евразийского сборника». Очевидно, Ливен и Савицкий обсуждали идеи книги об особом российском мире «Евразии» задолго до описываемых событий.

В Константинополе Савицкий прочитал книгу Трубецкого «Европа и человечество» и откликнулся на нее большой рецензией в «Русской мысли», издание которой незадолго до этого решил восстановить в Софии П.Б. Струве. Постоянно находясь в разъездах, Струве поручил Савицкому представлять его в Софии, а право издания «Русской мысли» было передано Русско-Болгарскому книгоиздательству. В начале 1921 года Савицкий переехал в болгарскую столицу, и в течение года там сложилось ядро той группы людей, которая в разном составе на протяжении всех 1920-х годов будет пропагандировать новое течение российской мысли – евразийство. Летом 1921 года эта группа заявила о себе первым публичным выступлением и в августе выпустила первый сборник статей – «Исход к Востоку»...²

История евразийства как движения ограничивается 1920-1930-ми годами. Однако евразийская идеология, которая, казалось, навсегда исчезла с политической и интеллектуальной сцены в середине XX века, сегодня вновь возвращается на страницы книг, газет и журналов. В течение второй половины XX века евразийство жило полуподпольной жиз-

нию, выходя на свет только в работах последователя Савицкого – Льва Николаевича Гумилева и в некоторых книгах историка-эмигранта Георгия Владимировича Вернадского. С крахом советского режима и исчезновением советского метаязыка возрождение евразийства, очевидно, стало попыткой занять на постсоветском пространстве освободившуюся идеологическую нишу, причем попыткой не всегда безуспешной. Фашиствующее движение Александра Дугина, евразийские рассуждения лидеров коммунистов, наконец, евразийская лексика казахстанского президента, открывшего в Астане Евразийский университет имени Льва Гумилева, – все говорит о том, что евразийство, в отличие от других идеологий межвоенной эмиграции, сделало небезуспешную попытку возвращения или, точнее, проникновения на территорию Евразии. Сегодняшнее евразийство роднит с евразийством историческим неприятие современной культуры, враждебность к либерализму и попытка найти «третий путь» между капитализмом и государственным вмешательством в жизнь общества и экономическую деятельность, то есть те черты, которые сближали евразийство 1920-х годов с фашизмом межвоенной Европы. В постсоветской, травмированной России, которую социологи называли даже Веймарской Россией, у такого движения, безусловно, есть потенциал³. Немаловажен и тот факт, что сегодня, как и девять десятилетий назад, российская публика живет под впечатлением от распада многонационального имперского государства, от утраты этим государством статуса мировой державы. Казалось бы, евразийство, настаивающее на равенстве народов Евразии, провозглашающее участие неславянских народов в общей государственной и политической жизни Евразии, может повернуть Россию на путь чуть ли не современного западного мультикультурализма и сделать возможным сохранение единого постсоветского пространства. Однако «синкретизм» евразийства никогда не приводил к замещению русского национализма некой менее исключительной национальной идентичностью (как можно было бы предположить на основании отдельных положений евразийского учения). Исторически в евразийстве всегда перевешивала та составляющая, которая связана с фашизмом, а переоценка национальной идентичности, даже если в ней и был изначально заложен потенциал преодоления этнической исключительности, является скорее оправданием целостности имперского пространства и апологией территориальной экспансии.

Впрочем, исследование, содержание которого зависит лишь от идеологических забот сегодняшнего дня, – плохое исследование. Существует достаточно аргументов, объясняющих, почему прошлое евразийского движения, каким бы оно ни было, важно для понимания истории России в XX веке. Евразийство возникло в условиях политической эмиграции 1920-х годов, существовало среди эмигрантов и разделяло эмигрантские предрассудки и стиль мышления. Учитывая традиционное внимание, которое политические эмигранты уделяют происходящему на своей родине, их взгляды зачастую необычны, поскольку, как отмечал Георг Зиммель, странник живет как бы в двух измерениях – в реальном мире изгнания и воображаемом мире своего отечества. Унаследованные из прошлого традиции преломляются в ситуации «перемещения» (*displacement*) и конструируют образы будущего. Время, которое с неумолимостью сокращает культурный рынок эмигрантского общества, способствует его все большей ассимиляции в принимающие общества, создавая ощущение распада и надвигающейся катастрофы. Как писал один из эмигрантов 1920-х годов, эмиграция представляет собой «этнографическую пыль». Самоидентификация эмигранта связана с определением места в принимающем обществе и выстраиванием границ «своего» в реальном мире, но это выстраивание зависит от того, как определяется воображаемое отечество. Для эмигрантов 1920-х годов контекстом, в котором воображалось это отечество, была история России имперского периода и факт ее распада, с одной стороны, и глубокий кризис европейской модерности – с другой.

На протяжении всего советского периода история эмиграции не привлекала практически никакого внимания: в СССР этому не способствовали идеологические условия, а на Западе, за исключением единичных работ историков, советская концепция «краха антисоветской белоэмиграции» транслировалась в общее ощущение, что эмигранты из бывшей Российской империи – это представители безвозвратно ушедшего мира, атавизм истории, не имеющий никакой эвристической ценности⁴. Само понятие революции в рамках модернизационной парадигмы, господствовавшей во второй половине XX века, было тесно связано с современностью и неумолимым движением прогресса. Под влиянием марксовской интерпретации Гегеля революция осмыслялась как разрешение, снятие противоречий общественного устройства, как выход на новую, более прогрессивную стадию развития. Контрреволюционные эмигранты вписывались в эту картину лишь как печальный пережиток истории, тупиковая ветвь исторического развития. Парадоксальным образом огромное количество работ было написано об отдельных эмигрантах: таких знаменитостях, как Набоков или Стравинский, но не об эмиграции. Ситуацию не изменила даже возникшая в период крушения колониальных империй мода на исследования миграций и диаспор или традиционный интерес к теме изгнания, который всегда проявляли интеллектуалы: ни в постсоветской России, ни за рубежом не появилось культурной или социальной истории эмиграции как особой области исследований⁵. С падением советского режима увидело свет необозримое количество публикаций об эмиграции в России, но, несмотря на большую работу по введению в оборот новых источников, здесь говорить о каких-то концептуальных инновациях пока рано⁶. К сожалению, если эмиграция и возвращалась, то в облике «подлинной исторической правды», которую искажала советская идеологическая наука; она была, как любили говорить в конце 1980-х – начале 1990-х, средством для уничтожения очередного «белого пятна» на исторической карте. В тех немногих работах западных исследователей, которые посвящены российской эмиграции, речь обычно идет либо об истории культуры в традиционном понимании «высокой культуры», либо о последних годах жизни известных персонажей предреволюционной российской истории, что ограничивает исследования эмиграции областью «классической» культурной и политической истории⁷.

В то же время история эмиграции 1920-1930-х годов представляет собой любопытную модель «альтернативной лаборатории», в которой представители образованных классов бывшей Российской империи конструировали прошлое и будущее России, причем, в отличие от интеллектуалов Советской России, они обладали возможностью напрямую транслировать опыт и ощущения европейской модерности кризисного межвоенного периода в свои тексты о российской истории и политике⁸. Именно в эмиграции сформировался русский фашизм, а культурный фермент модернизма конца XIX – начала XX века остался вне рамок Советского государства и большевистской идеологии.

Несмотря на то что провозглашенная российской пореволюционной эмиграцией («зарубежной Россией», как ее назвал Б.Э. Нольде) задача сохранения и возвращения «национальной» традиции в освобожденную от большевиков Россию так и не была выполнена (в отличие от некоторых постсоветских государств, никакой более или менее значительной инкорпорации эмигрантского наследия в академическую науку в России, за немногими исключениями, не произошло), именно в эмиграции началось осмысление истоков революции, хода Гражданской войны, самой возможности существования многонациональной империи⁹. Более того, многие российские интеллектуалы в изгнании особенно остро ощущали кризисный характер современности: Россия была выброшена большевистским переворотом на едва ли подходящий для нее путь построения социализма и, как считал, например, Н.С. Трубецкой, «то, что для европейских экономистов является конечным пределом эволюции, в России в данном случае является исходным пунктом интересующей нас эволю-

ции»¹⁰. Согласно такому взгляду, необходим был поиск новых форм социального и государственного устройства, новых подходов к организации научного знания и восприятию европейского наследия.

Одним из ярких примеров такого поиска, в котором отразились самые разнообразные проблемы российской истории, и было евразийское движение, которое в своем стремлении, с одной стороны, сохранить имперскую целостность России, объявив невозможными и бессмысленными национализмы населяющих ее народов, а с другой – исключить ее из сферы европейской модерности провозгласило Россию особой, неевропейской цивилизацией. Представители евразийского движения подчеркивали свое отличие как от традиций дореволюционного периода (таких, как либерализм, народничество или консервативный монархизм), так и от современных им европейских параллелей (например, фашизма). Несмотря на то что евразийское движение развивалось именно в контексте интеграционистских и фашистских движений в межвоенной Европе и было во многом родственно им по своей тематике, языку и методам, проблематика евразийства выходит за пределы неоромантических идеологий и движений. В отличие от европейских параллелей в евразийстве отразилась не только критика стандартизирующей западной культуры, свойственная консервативным течениям – предтечам фашизма – в период между двумя мировыми войнами, но и антиколониальная риторика¹¹. Испытав влияние теории культурных типов, которую в России разрабатывал Н.Я. Данилевский, а также критики дарвинистской модели эволюции (предпринятой, например, в работах Льва Семеновича Берга), евразийские мыслители разрабатывали ультрасовременный структуралистский метод, оставив значительный (но до сих пор мало исследованный) след в истории эпистемологии XX века. Теория культурных типов, критика колониализма и «реакционный модернизм» были связаны в евразийском дискурсе не только с европейской этнографической традицией и российским консервативным романтизмом, но и с проблемным полем современного русского национализма, формировавшегося в пределах имперской политики¹². Нормативное знание в гуманитарных и социальных науках в течение XIX века развивалось в контексте национального государства, идеальной модели и смысловой рамки, которые формировали общественное мировоззрение. Империя, многонациональное государство, каковым являлась Россия, была своего рода черной дырой гуманитарного и социального знания: она не породила аналогов нормативному знанию национального государства, а лишь примеряла на себя модели, развившиеся в контексте национального государства. Проблематика имперского государства, соотнесение моделей национализма и реальности Российской империи стали центральной темой евразийского дискурса, объединив эстетику и геополитику, фонологию и историю. Именно поэтому история евразийства – это симптом встречи интеллектуальной элиты многонационального, экономически и политически отсталого государства с современностью. В результате этой встречи евразийцы выработали в различных сферах своей деятельности – в науке и политике, в эстетике и религии – свой язык, ключевыми элементами которого стали концепты «современность», «синтез», «целостность», «идеократия», «третий путь», «автаркия», «колониализм» и т. д.

2

Действующие лица

Евразийство не смогло бы стать столь многообразным движением, затронувшим самые различные аспекты политики и науки, если бы в нем не принимали участия незаурядные личности, сыгравшие значительную роль в развитии таких разных областей, как история музыки, фонология или биогеография. Несмотря на различные профессиональные и общекультурные интересы, эти люди были объединены определенным поколенческим этосом и опытом последних «нормальных» лет Российской империи, Первой мировой войны, двух революций и Гражданской войны. Они разделяли общее ощущение глубокого кризиса – точнее, надвигающейся катастрофы – современной им европейской цивилизации; они верили, что путь к спасению лежит в проведении границ между различными культурами, как выражался Трубецкой, воздвижении «перегородок, доходящих до неба». Они испытывали глубокое презрение к либеральным ценностям и процессуальной демократии и верили в неминуемое пришествие нового, еще невиданного строя. Эти люди, за немногими исключениями, принадлежали к привилегированным слоям бывшей Российской империи. Многие, особенно среди младших евразийцев, воевали в Белой армии, потерпели поражение и пережили изгнание.

Историки неодинаково оценивали участников евразийского движения, и их внимание не всегда напрямую зависело от того, какую роль сыграл тот или иной человек в общей истории движения. Безусловно, больше всего написано о Н.С. Трубецком, что объясняется его научной карьерой и многолетними усилиями Р.О. Якобсона по пропаганде его лингвистических идей¹. Однако биографии Трубецкого, даже если они выходят за рамки чисто лингвистических аспектов его деятельности, остаются односторонними, так как опираются на весьма ограниченное число источников. Отсутствие доступа к архивным материалам² стало причиной идеализации и облагораживания облика Трубецкого: большинство биографий этого выдающегося лингвиста обходят стороной такие черты Трубецкого, как яркий антисемитизм, граничивший с нацистскими убеждениями, и принадлежащее ему авторство фашистской теории государства, которую проповедовали евразийцы. О П.П. Сувчинском биографической литературы до последнего времени практически не существовало, а те фрагментарные биографические данные, которые появлялись по большей части в апологетических сборниках, несмотря на их значение для культурологии или музыковедения, не соответствуют критериям исторической науки³. Д.П. Святополк-Мирский удостоился отдельной биографии, возможно, благодаря тому, что его работы по истории русской литературы, вышедшие на английском языке, получили широкую известность в англосаксонском мире и на них выросло не одно поколение славистов⁴. Если Г.В. Флоровскому и Г.В. Вернадскому повезло больше, чем П.П. Сувчинскому, то биографической литературы о П.Н. Савицком до недавнего времени не существовало вовсе, что кажется необъяснимым, учитывая доступность источников и огромный интерес к евразийству в современной России⁵. О Л.П. Карсавине написано несколько статей, содержащих биографические сведения, а вот евразийцы младшего поколения, такие как П.С. Арапов или П.Н. Малевский-Малевич, разделили судьбу Савицкого и не стали предметом не только монографий, но даже статей биографического характера⁶.

В евразийском предприятии принимали участие десятки, если не сотни, людей самого разного уровня. В орбиту евразийства в разное время были вовлечены такие представители российской культуры, как С.Л. Франк и И.Ф. Стравинский, М.И. Цветаева и А.М. Реми-

зов, А.В. Кожевников и Р.О. Якобсон. В то же время в нем фигурировали бывшие офицеры, например П.С. Арапов, будущий лидер русских нацистов за рубежом А.В. Меллер-Закомельский или резидент генерала А.П. Кутепова и «Треста» в Варшаве Ю.А. Артамонов. К движению примыкали и агенты ОГПУ, такие как А.А. Ланговой-«Денисов». Мы ограничимся здесь лишь биографическими данными Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского и П.С. Арапова. Первые трое являются самыми видными представителями евразийства, его духовными отцами и многолетними руководителями, тогда как последний – автор значительного числа публикуемых здесь писем – был активным организатором евразийского движения и его подпольным «антрепренером» на протяжении почти десяти лет. За рамками книги остались биографии Г.В. Флоровского, более тяготевшего к кругу религиозно-философских мыслителей и рано отошедшего от евразийства, и Л.П. Карсавина, который участвовал в движении лишь на последнем этапе его существования (к тому же Карсавин примкнул к евразийству лишь благодаря протекции Сувчинского, тогда как Трубецкой и Савицкий долго противились его привлечению). Именно эти четыре человека – Трубецкой, Савицкий, Сувчинский и Арапов – составляли «внутренний круг» евразийства, руководили движением, обсуждали между собой его стратегию, редактировали публикации и принимали ключевые решения.

В комментариях к публикуемым письмам будут отражены биографические данные «второстепенных» участников и «попутчиков» движения: Д.П. Святополк-Мирского, Г.В. Вернадского, П.Н. Малевского-Малевица, В.П. Никитина, Н.А. Клепинина, Н.Н. Алексеева, К.А. Чхеидзе и многих других. Здесь следует сказать несколько слов об отношении к евразийству Романа Осиповича Якобсона. Он, безусловно, симпатизировал основателям движения и был очень близок с Н.С. Трубецким, с которым его связывало многолетнее и чрезвычайно плодотворное научное сотрудничество, но особенно он был дружен с П.Н. Савицким, ставшим его крестным отцом. Под влиянием Савицкого Якобсон разрабатывал евразийскую теорию языковых союзов, обсуждал евразийские работы Трубецкого; его принадлежность общеидеологической среде евразийства бесспорна. Он также привлёк к участию в своем восточнославянском отделе журнала *Slavische Rundschau* Савицкого, Трубецкого и Сувчинского. В одном из публикуемых в данном томе писем Трубецкой пишет Сувчинскому, что, по его мнению, Якобсон «совершенно наш» во всем, что касается оценки быта, современности, науки, восприятия искусства. Смущала Трубецкого лишь религиозность, точнее, отсутствие таковой у Якобсона. После Второй мировой войны именно Якобсон сыграл ключевую роль как в пропаганде работ Трубецкого, так и в трансляции некоторых евразийских идей в западный контекст. И все же Якобсон всегда находился на определенной дистанции от евразийцев: было это результатом его собственного решения или следствием сдержанности евразийцев, на которых мог оказать влияние факт службы Якобсона в советском учреждении или их личный (во всяком случае, Трубецкого) антисемитизм, остается вопросом для исследователей⁷. Также несмотря на публикации работ в евразийских сборниках сложно причислить к евразийцам А.В. Карташева, П.М. Бицилли и многих других – они лишь симпатизировали определенным идеям, но не принимали евразийское учение в целом.

Николай Сергеевич Трубецкой

Николай Сергеевич Трубецкой, в отличие от большинства евразийцев, приобрел широкую известность в немалой степени благодаря неустанной пропаганде его научного наследия Р. Якобсоном. Работам Трубецкого посвящены многочисленные исследования лингвистов и историков языкознания. В публикуемых письмах он предстает в несколько иной ипостаси: здесь мы видим не столько лингвиста, сколько теоретика-обществоведа, даже философа (несмотря на некоторую враждебность самого Трубецкого философии), идеолога,

политика и организатора. Более того, облик Трубецкого-евразийца весьма далек от идеализированного облика ученого – основоположника структурной филологии, автора блестящих работ по лингвистике. Он не отказывается от ярлыка «демагог», наслаждается своей ролью идеолога и не испытывает дискомфорта от спекулятивных построений и иррациональных обобщений, несовместимых с *научным* подходом. Трубецкой-евразиец – это политический консерватор-модернист, сторонник фашистского типа государственного устройства и патологический антисемит. В Трубецком-евразийце эти черты спокойно уживались с искренним неприятием колониализма, верой в равенство евразийских народов и научным авангардизмом. Он, пожалуй, был самым влиятельным евразийцем, к которому, как к третьей стороне, всегда обращались коллеги.

Н.С. Трубецкой родился в 1890 году в семье князя Сергея Николаевича Трубецкого, философа-неославянофила и горячего поклонника Владимира Соловьева⁸. С.Н. Трубецкой был профессором историко-филологического факультета Московского университета, а в 1905 году, во время революционных событий, стал ректором стремительно политизировавшегося после обретения автономии университета, сыграв, по словам биографа его сына, «значительную роль в либерализации русской общественной жизни»⁹. Он возглавлял депутацию либеральных деятелей (по свидетельству консервативных современников, не разделяя кадетского радикализма), принятую Николаем II. Краткосрочное ректорство Трубецкого закончилось с его ранней смертью.

Трубецкой-младший практически никогда не упоминал имя отца ни в своих работах, ни в своей частной переписке, оставив историкам гадать, до какой степени соловьевство и гегельянство Сергея Николаевича стало точкой отсчета для Николая Сергеевича. И хотя мы знаем, что юный Трубецкой после смерти отца был близок к людям, группировавшимся в 1910-х годах вокруг журнала «Путь», отец и сын Трубецкие представляют собой два периода, две страницы позднего русского неоромантизма. Если для Сергея Николаевича метафизические поиски духовной целостности вовсе не означали отказа от свободы в самом либеральном понимании этого слова, Николаю Сергеевичу, с его страстью к организации и классификаторству в научной сфере, с его парадоксальным, на первый взгляд, сочетанием религиозности и романтического интуитивизма с наукообразием и поиском внутренней закономерности явлений, ощущение свободы было фундаментально чуждо. Молчание Н.С. Трубецкого о своем отце, возможно, объясняется стремлением евразийцев прочертить границу между своим поколением и поколением отцов («старых гримз», как они выражались), создать символическую стену между своим миром и миром, где романтическое философствование не означало отказа от стремления к индивидуальной свободе.

Поскольку биография Трубецкого уже достаточно исследована, мы наметим здесь лишь самую общую ее канву. Трубецкой был известен как вундеркинд, поскольку начал свою научную карьеру необыкновенно рано: к 15 годам появляются его первые публикации по мифологии финно-угорских народов, он вступает в переписку с ведущими специалистами в славянской, финно-угорской и палеоазиатской этнографии и лингвистике¹⁰. В биографической литературе часто упоминается следующий эпизод, рассказанный Тан-Богоразом: получив от Трубецкого письмо с просьбой о совете в области палеоазиатских языков, он приехал в Москву, чтобы встретиться с ученым корреспондентом, и в гневе покинул дом Трубецких, когда в ответ на просьбу провести его к князю Николаю Сергеевичу из комнат выбежал подросток в коротких штанишках¹¹.

Сдав экстерном экзамены в 5-й московской гимназии (образование он получил домашнее), Трубецкой поступил в 1908 году на историко-филологическое отделение Московского университета, где в это время преподавал его дядя, искусствовед и философ Евгений Николаевич (еще один дядя, Григорий Николаевич, был известным кадетом, автором труда о про-

блемах внешней политики России и участником журнала «Путь»), Как писал в своем представлении на оставление Трубецкого при университете В.К. Поржезинский, первые два года Трубецкой провел сначала на философском, а затем на словесном отделении в группе западноевропейской литературы¹². В университете Трубецкой, изначально планировавший изучать философию и историю, быстро склоняется к лингвистике (заявив, что именно лингвистика – самая научная из всех гуманитарных наук) и этнографии и начинает изучать кавказские и финно-угорские языки и мифологию¹³. В 1910–1911 годах Трубецкой переходит на отделение сравнительного языковедения¹⁴. В то время, когда образованное общество России впервые серьезно задумывается о многонациональномTM Российской империи, когда ведет свою работу диалектологическая комиссия (она исследовала диалекты русского языка, включая считавшиеся таковыми украинский и белорусский языки) и возникает московский лингвистический кружок, а в стране просыпаются национальные движения, интерес к языковой проблематике вне славистики вполне объясним. В конце XIX – начале XX века российская интеллигенция и российская наука начинают осознавать, что Россия – это не «органическое русское государство», но империя с многонациональным и многоконфессиональным населением.

В 1910–1913 годах Трубецкой слушает лекции В.К. Поржезинского, Р.Г. Виппера, М.М. Покровского и др. На протяжении 1910-х годов он участвует в работе секции этнографии Российского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В это же время он активно сотрудничает с Всеволодом Федоровичем Миллером, известным иранистом, исследователем русского фольклора и основателем журнала «Этнографическое обозрение», где в 1906–1914 годах печатаются статьи Трубецкого. Летние месяцы Трубецкой проводит на даче Миллера недалеко от Минеральных Вод, занимаясь исследованием кавказского фольклора. Примечательно, что Миллер был директором Лазаревского института восточных языков в Москве, в котором учился Якобсон, сыгравший огромную роль как в жизни Трубецкого, так и в евразийском проекте. Миллер оказал большое научное влияние на увлекавшегося кавказскими языками и культурой Николая Сергеевича. Любопытно, что в своих ранних работах по русскому фольклору Миллер доказывал восточное происхождение русских былин.

Помимо Миллера, Трубецкой находился под влиянием С.К. Кузнецова, выпускника Казанского университета, этнографа и путешественника, исследователя культуры марийцев и удмуртов, первого библиотекаря Томского университета. Выйдя в отставку, Кузнецов в 1903 году поселился в Москве, где участвовал в работе этнографической секции¹⁵. Еще одним этнографическим контактом Трубецкого был народник В.И. Йохельсон, исследователь народов Крайнего Севера. Впоследствии, в переписке с евразийцами, Трубецкой берет себе псевдоним Йохельсон, в связи с чем многие исследователи его биографии отмечают преданность Трубецкого по отношению к одному из его учителей и коллег (Йохельсону Трубецкой писал еще совсем молодым человеком и просил совета о литературе, касавшейся палеоазиатских языков; Йохельсон ответил предложением составить список известных ему юкагирских слов). Однако, скорее всего, выбор Трубецкого объясняется вовсе не уважением к памяти этого ученого. Евразийцы брали «еврейские» имена для своих псевдонимов в рамках насаждавшейся Трубецким внутри движения антисемитской идеологии. Так, у Сувчинского не было наставника по фамилии Резник, а у Савицкого – по фамилии Элкинд.

Успешно сдав испытательный экзамен историко-филологической комиссии весной 1913 года, Трубецкой был оставлен готовиться к получению профессорского звания по кафедре сравнительного языковедения и санскритского языка. Представление об этом было подписано профессором В.К. Поржезинским¹⁶. В сентябре 1913 года историко-филологический факультет рекомендовал ректору университета удовлетворить прошение Трубецкого о

стажировке в Лейпциге. Осень 1913 и весну 1914 года Трубецкой провел в Германии, слушая лекции индоевропейцев. В частности, Трубецкой посещал лекции Линдера по староармянскому, Бругмана – по морфологии и синтаксису латыни, Лескина – по литовскому языку, а также Виндиша – по древнеиндийской литературе. Кроме того, Трубецкой участвовал в работе практических семинаров этих преподавателей, причем у Линдера он оказался единственным студентом¹⁷. С осени 1915 по конец марта 1916 года Трубецкой сдавал магистерский экзамен, состоявший из серии публичных лекций. Получив 30 мая 1916 года должность приват-доцента, уже осенью 1917 года Трубецкой взял отпуск по болезни. В автобиографии, написанной для Софийского университета 22 июня 1920 года, Трубецкой указывал:

...осенью 1917 г. я получил отпуск для лечения и поехал в г. Кисловодск, Терской области, но начавшаяся скоро гражданская война помешала мне вернуться в Москву. Только осенью 1918 мне удалось выбраться из Кисловодска и приехать в число приват-доцентов Донского университета. С весны 1919 я состоял штатным доцентом Донского университета, временно замещающим вакантную кафедру сравнительного языковедения. В то же время состоял преподавателем и на Ростовских Высших женских курсах, а весенним полугодием 1919 и преподавателем Новочеркасского учительского института. 19 декабря (ст. ст.) 1919 г. при эвакуации Ростова-на-Дону я приехал в Ялту, а оттуда 27-го февраля (ст. ст.) 1920 г. выехал в Цариград, где находился до сего времени¹⁸.

Странствия в годы Гражданской не прошли даром для Трубецкого. В письме Роману Якобсону он сообщал: «Во время моих странствий по Кавказу я как-то раз попал в Баку в марте 1918 года, как раз во время „восстания мусульман против советской власти“, точнее – в тот недолгий промежуток времени, когда армяне резали татар»¹⁹. Межэтнические войны на Кавказе, подобные столкновениям сторонников армянской партии дашнакцутюн и азербайджанской мусават весной 1918 года, которые Трубецкой наблюдал непосредственно, несомненно, повлияли на его восприятие национальных движений в бывшей Российской империи. Однако, как и многие участники и свидетели Гражданской войны на юге России, Трубецкой осознал важность и значение «окраинных» или колониальных народов, их «выхода на мировую сцену».

В Константинополе Трубецкой связался с учеными из Софии, куда он выехал на работу в 20-х числах июня 1920 года. Получив положительные рекомендации болгарских славистов Ст. Младенова и М. Арнаудова, историко-филологический факультет Софийского университета избрал Трубецкого доцентом сравнительного языковедения на два года, которые Трубецкой провел в Болгарии, читая лекции по языковедению. Один из прочитанных Трубецким курсов отразился в евразийских публикациях: это был курс по истории религий Индии, материал из которого был использован Трубецким в статье «Религии Индии и христианство»; о ее замысле он сообщает Сувчинскому²⁰. В Болгарии были написаны и две работы Трубецкого, касавшиеся колониального характера России и роли европейской культуры в колониализме: это увидевшие свет в 1920 году «Европа и человечество» и предисловие к книге Герберта Уэллса «Россия во мгле». Отметим, что, по утверждению Трубецкого, идеи, высказанные им в первой работе, он обдумывал уже в 1910-х годах²¹.

Как следует из его писем Якобсону и публикуемых здесь писем Сувчинскому, написанных в югославском городе Бледе, Трубецкой покинул Болгарию летом 1922 года, ожидая грядущего увольнения в связи с общим ухудшением положения российских эмигрантов. Неприятие национализма «новых» государств, звучащее в текстах Трубецкого, было характерным для представителей «исторического» народа отношением к претензиям народов «неисто-

рических». В то же время эксцессы нацистроительства в Восточной Европе отражались и на положении эмигрантов из России. В работах «Европа и человечество» и «О национализме истинном и ложном» Трубецкой резко отзывается о таком национализме, стремящемся во всем подражать институтам и формам европейского национального государства. Это критическое и ироническое отношение к «малым» национализмам высветилось и в дискуссии Трубецкого и Дорошенко об украинской истории²². Неприятие Трубецким европейской модерности было и неприятием специфической политической формы этой модерности – современного национального государства, которое Трубецкой считал естественным только для «романо-германских» народов. Отсюда следовала и критика русского политического национализма, попытка разрушить конструиовавшиеся при его помощи границы между народами Российской империи.

Подав заявку на кафедру университета в Брно, Трубецкой после периода неясности неожиданно для самого себя получил кафедру славянской филологии в Вене (впоследствии Трубецкой писал Якобсону, что получил он ее как князь согласно правилу тульского самовара – в Вене, полной собственных князей²³). Кафедра, которую возглавил Трубецкой, имела давние и славные традиции: в течение многих лет там работал Вратислав (Рудольф) Ягич, преемником которого и стал Трубецкой. Венский период жизни Трубецкого, самый продуктивный в его биографии, продлится до его смерти в 1938 году.

До конца 1920-х годов Трубецкой принимал самое активное участие в евразийском движении, являясь его неформальным лидером. Однако уже с середины 1920-х его начали посещать сомнения в нужности евразийства, появились усталость, разочарование, мысли о том, что ему следовало бы посвятить себя лингвистике, не отвлекаясь на «евразийский кошмар». После раскола движения Трубецкой горько сожалел о своем участии в нем, не отказываясь, впрочем, от своих идей²⁴. В эти годы – примерно с 1926-го по 1935-й – Трубецкой занимается в основном разработкой евразийской политической теории. Любопытно, что в эти же годы он стал более критичным по отношению к СССР. С 1926 года в интеллектуальной биографии Трубецкого появилась еще одна страница: в Праге возник знаменитый лингвистический кружок, одним из ведущих участников которого стал Трубецкой. На работу кружка оказали влияние и евразийские построения, «русские образы целого».

Из всех евразийцев именно Трубецкой добился самой широкой известности своими научными работами, его труды пользуются авторитетом среди лингвистов и филологов, он считается одной из ключевых фигур в истории структурализма (при всей неоднозначности современной трактовки этой роли)²⁵. В то же время именно фигура Трубецкого стала связующим звеном между двумя источниками евразийства: с одной стороны, интересом к разнообразным народам Российской империи, который возник в конце имперского периода и выразился в этнографических и лингвистических исследованиях и в литературных веяниях; с другой стороны – традициями религиозного романтизма, отраженными в религиозной философии начала века, поиске социальной и духовной целостности, которой угрожает модернизация, поиске морального обновления на религиозной основе. Если в связи с первым аспектом возникают имена Миллера, Кузнецова, Йохельсона, то в связи со вторым – Константина Леонтьева, Владимира Соловьева, круга журнала «Путь» и Сергея Николаевича Трубецкого. Унаследовав от первого источника интерес и уважение к культурам неевропейских народов, Трубецкой приобрел от второго апокалиптическое ощущение культурной катастрофы, усредняющего и омертвляющего влияния «бензинно-газовой и машинной» цивилизации модерна. Один из крупнейших лингвистов XX века, он остается неоднозначной фигурой, в которой примитивный антисемитизм уживался с нюансированной критикой современной ему цивилизации, стремление к культурному творчеству – с политиканством и местечковостью, а научный авангардизм и продуктивность – с довольно примитивным

восприятием искусства и потрясающим отсутствием эстетического чутья (ср. его оценку Пастернака как «эпигона и звезду десятой величины», критику творчества Марины Цветаевой и плоские рассуждения о футуризме).

Петр Петрович Сувчинский

Петр Петрович Сувчинский – самая малоизвестная личность среди основателей евразийства, сыгравшая тем не менее ключевую роль как в формировании евразийской идеологии, так и в распаде евразийского движения. Сувчинский родился в 1892 году в Петербурге в польско-украинской семье, носившей графский титул Шулега-Сувчинских. Сведения о биографии Сувчинского до революции отрывочны. Известно, что семья Сувчинских принадлежала одновременно к чиновной и предпринимательской среде (отец Петра Петровича был чиновником и председателем правления общества «Нефть»), что состояние Сувчинских перед революцией исчислялось сотнями тысяч рублей, что Сувчинским принадлежало имение Тхоровка на Украине, сдававшееся в аренду промышленному предприятию, что Анна Ивановна, мать Петра Петровича, владела новым домом на Петроградской стороне в Петербурге²⁶.

Петр Петрович, судя по этим отрывочным сведениям, учился в Тенишевской гимназии, закончил Петербургский университет и консерваторию. В имении Тхоровка Сувчинский организовал народный хор и вообще рано увлекся музыкой. Более подробные и надежные сведения излагает он сам в ответ на просьбу советского музыковеда Шнеерсона написать свою автобиографию:

...15-ти лет я начал заниматься частным образом ф[орте] – п[иано] с Феликсом Михайловичем Блуменфельдом, как Вы знаете, это был первый русский дирижер, выступивший во время 2-го сезона Дягилева в Париже, дирижируя Бориса Годунова с Шаляпиным... Был также близок с его племянниками К. Шимановским и Г. Нейгаузом... Ф[еликс]Михайлович]Блум.[енфельд] познакомил меня с Анд [реем] Ник [олаевичем] Римс. [ким] Корсаковым]... Имея в то время материальные возможности, издавал вместе с ним Музыкальный] Современник], сборники статей и хроники... В начале мы кооперировали дружно, но два факта привели меня к решению прекратить мое участие в издании этого журнала. Первым фактом было появление очень интересных статей, подписанных именем Иг. Глебова в московском] музыкальном] журнале В. Держановск[ого] «Музыка». Оказалось, что Иг. Гл[ебов] был Борис Владимирович] Асафьев....

Сувчинский ввел Асафьева в число сотрудников «Музыкального современника» против воли Римского-Корсакова. Вторым фактом, вызвавшим расхождение с Римским-Корсаковым, стало появление С.С. Прокофьева. Сувчинский предложил посвятить ему концерты в Петрограде и Москве, на что Римский-Корсаков ответил отказом. Это и стало причиной разрыва²⁷. Характерно, что Сувчинский уже в этом инциденте выступал как «отрицатель старого» – культурная позиция, которой он придерживался всю жизнь. Безусловно, практическая работа по изданию журнала в дореволюционном Петербурге также имела значение для приобретения опыта создания интеллектуальных кружков и групп, в чем, по общему мнению, Сувчинский был непревзойденный мастер²⁸. В дореволюционные годы он был вхож и в литературные круги Петербурга. О нем с симпатией упоминает в своих дневниках Александр Блок, чья поэзия будет предметом статей Сувчинского в евразийских сборниках (в

1920 году Русско-Болгарское книгоиздательство даже выпустит поэму «Двенадцать» с предисловием Сувчинского)²⁹.

После Октябрьского переворота он пытался включиться в деятельность тех авангардных кругов, которые связывали обновление творчества с новым режимом. В архиве Сувчинского хранится удостоверение, направленное руководителям музыкального отдела ЦИК Украины, в котором Сувчинский назван «уполномоченным музотдела по установлению контактов с Центральным музотделом Республики». Удостоверение подписано Артуром Сергеевичем (Артуром Винсентом) Лурье, известным композитором, близким другом Анны Ахматовой³⁰. Сувчинский пытался организовать издание музыкального журнала «Мелос» и Театра классической оперы в Петрограде. Тот факт, что Сувчинский сотрудничал с Лурье, объясняет распространенное в среде французских интеллектуалов мнение, что Сувчинский был «комиссаром республики»³¹. В 1917–1918 годах Лурье был не только близок с Велимиром Хлебниковым (Лурье – один из «председателей земного шара» из известного хлебниковского манифеста), но и работал с Луначарским над организацией управления культурой в революционной России. В 1918 году Сувчинский был вынужден уехать на Украину. В его архиве сохранилось письмо Луначарского в районный совет с требованием уберечь его квартиру от уплотнения: вполне возможно, что разруха революционных лет и стала одной из причин отъезда. У нас мало известий о жизни Сувчинского в годы Гражданской войны, но мы знаем, что в 1918 году он живет в Киеве, общается с музыкальными деятелями, о чем свидетельствует его переписка с оперной певицей Софьей Коханской, женой пианиста Поля Коханского³².

В 1920 году он оказывается в Софии, где становится одним из директоров-распорядителей Русско-Болгарского книгоиздательства, в котором уже в 1921 году под редакцией Сувчинского и Н.С. Жекулина выходит план по изданию исторических документов времен революции и Гражданской войны в России (Сувчинский в 1920–1921 годах собирал воспоминания, записки, документы участников революционных событий; часть этих документов сохранилась в архиве Сувчинского и ждет своего исследователя)³³. Можно лишь предполагать, в какой степени этот проект создания документированной истории российской революции оказал влияние на формирование взглядов Сувчинского.

В Софии он знакомится с А.А. Ливеном, Н.С. Трубецким, Г.В. Флоровским и со своим будущим соперником и врагом, а в то время глубоко восхищавшимся им П.Н. Савицким. По определению Трубецкого, в 1920–1921 годах в Софии именно Сувчинский был ему ближе всех, Флоровский – дальше всех, а Савицкого Трубецкой охарактеризовал как колеблющегося, не освободившегося до конца от своего ученичества у Струве³⁴. Уже в 1922 году Сувчинский переезжает из Софии в Берлин, где организует евразийские издания, финансирует авангардный театр и пропагандирует евразийство. В Берлине Сувчинский устанавливает контакт с бароном А.В. Меллером-Закомельским, невидимым партнером евразийцев на протяжении первой половины 1920-х, позднее – лидером русских нацистов, а также с П.С. Араповым, о котором речь пойдет ниже. Когда Арапов оказался вовлечен в проводившуюся ОГПУ операцию «Трест», Сувчинский неоднократно встречался с представителями «Треста» (в частности, с А.А. Якушевым).

К 1924 году, после стабилизации немецкой марки, положение прежде процветавших русских книгоиздательств в Германии заметно ухудшилось. Многие известные деятели эмиграции перебрались в Париж. Евразийское же финансовое состояние к концу 1924 года неожиданно поправилось благодаря английскому филантропу Генри Норману Сполдингу. Благодаря этому Сувчинский переезжает в Париж (евразийская касса оплатила как переезд, так и его содержание), отчасти надеясь на продолжение контактов с профессорской средой. В 1925 году он привлекает к евразийству известного философа и медиевиста Л.П. Карсавина,

несмотря на видимое сопротивление Трубецкого и Савицкого, считавших его «скомпрометированным» связями с религиозно-философским ренессансом. Дочь Карсавина Марианна впоследствии стала женой Сувчинского (до этого женатого на Вере Александровне Гучковой, впоследствии Трайл, дочери А.И. Гучкова)³⁵.

Парижский период жизни Сувчинского ознаменовался и близкими отношениями с Д.П. Святополк-Мирским, которого он привлек в евразийство еще в 1922 году. Несмотря на то что евразийские взгляды Мирского были по меньшей мере неортодоксальны, его объединяла с Сувчинским общая страсть к литературе и искусству, и к 1926 году у них возникла мысль реализовать давний план евразийцев – создать близкий движению литературный журнал³⁶. Предприятие получило название «Версты», и в нем приняли участие многие известные литераторы. К этому времени у Сувчинского уже сложились тесные отношения с Мариной Цветаевой, приглашенной к участию в новом издании³⁷. Однако журнал не пережил своего третьего номера и был закрыт.

Сувчинский был безусловным лидером той группы, которую привлекали в евразийстве новый взгляд на современность, приятие революции, попытка найти общий язык с советским режимом. Вокруг Сувчинского сгруппировались люди, которые в меньшей степени интересовались евразийством с точки зрения истории, географии или этнографии. Для П.С. Арапова, Д.П. Святополк-Мирского и Л.П. Карсавина евразийство было важно как идеология, дававшая им возможность участвовать в политике и выражать свое отношение к происходящему в СССР и в эмиграции, либо просто как средство эстетического эпатажа. В этой группе были литераторы и художники, и они всегда критически относились к «ученому» евразийству Трубецкого и особенно – Савицкого. Левая, или кламарская (по месту резиденции Сувчинского под Парижем), группа конфликтовала с Савицким, была настроена все более и более просоветски и в значительной степени подвержена влиянию советских спецслужб. Большинство представителей этой группы вернулись в Россию после выполнения заданий советских спецслужб (за исключением самого Сувчинского, Карсавина и Мирского, практически все участники этой группы прошли такой путь, став добровольными агентами ОГПУ-НКВД). Напомним, что сам Сувчинский вслед за Араповым не только встретился с представителями «Треста», но и вел переговоры с советскими дипломатическими представителями в 1927 году.

Трубецкой, еще в 1922 году подметивший в Сувчинском страсть к левизне, не ошибся. Сувчинский установил контакт с ведущим сменовеховцем Н.В. Устряловым и предполагал сотрудничество с группой его единомышленников (в этом Трубецкой тоже упрекал Сувчинского³⁸). Левизна эта была скорее эстетическим феноменом: увлеченный экспериментаторским направлением в литературе и искусстве, Сувчинский всегда был склонен видеть в СССР грандиозный эстетический эксперимент (подобно тому, как Якобсон видел в нем эксперимент по организации науки³⁹). Для Сувчинского СССР был воплощением современности, а современность – самым важным элементом искусства и политики. Многие отмечали в Сувчинском парадоксальное сочетание православной религиозности и футуризма, но со временем, особенно к концу 1920-х годов, «футуризм» возобладавал. Сувчинский увлекся марксизмом и попытался трансформировать евразийство в квазимарксистское учение.

Вполне возможно, что эта эволюция Сувчинского произошла под влиянием Святополк-Мирского. Вместе с Мирским, проповедовавшим идею гибели русской литературы в эмиграции, Сувчинский установил контакт с Горьким, посетив его в 1927 году на острове Капри. Именно Сувчинский, несмотря на протесты (яростные – Савицкого и более сдержанные – Трубецкого), содействовал появлению газеты «Евразия», которая начала выходить в Париже в 1928 году. Газета стала откровенным рупором советской пропаганды (возможно, Сувчинский действительно хотел превратить ее в трибуну правой оппозиции, как об

этом на допросах в ОГПУ-НКВД говорили Мирский и Карсавин)⁴⁰. Появление «Евразии» с ее шаблонным языком советских газет и своеобразной смесью евразийства, советского марксизма-ленинизма и идей «общего дела» Н. Федорова стало причиной разрыва отношений между Савицким и Сувчинским. Трубецкой покинул ряды евразийской организации, и евразийское движение в своем изначальном составе прекратило свое существование.

После неудачи с изданием журнала «Версты» (над ним работали в основном Мирский и Сувчинский) и раскола евразийства Сувчинский и Мирский еще раз обратились к Горькому с предложением создать эмигрантский просоветский журнал. Заинтересованный Горький сразу потребовал детальные сведения о проекте и сообщил о нем Сталину, подчеркнув, что это люди большего «калибра», чем те, кто до тех пор пытался организовать просоветскую прессу в эмиграции⁴¹. Сложно сказать, почему Сувчинский не вернулся в СССР, как планировал: в любом случае это спасло ему жизнь. Уехавшие в 1930-м Арапов и в 1934-м Святополк-Мирский погибли.

Парижская жизнь Сувчинского резко разделена на две части: до начала 1930-х годов она связана исключительно с евразийством, в расколе которого Петр Петрович сыграл главную роль, а с 1930-х годов Сувчинский занимается почти исключительно музыкой. Надо отметить, что в 1930-х годах неблагоприятные контакты евразийцев сказались на судьбе Сувчинского: счастливо избегнув участи своих друзей и коллег – Святополк-Мирского и Арапова, погибших в СССР, – Сувчинский в 1937 году был обвинен французской газетой *Le Jour* в сотрудничестве с ОГПУ и судился с ее редакцией⁴². Один из немногих российских эмигрантов, оставшихся в Париже в годы оккупации, он сохранил в своем архиве многочисленные документы и воззвания пронацистских групп, включая письма великого князя Владимира Кирилловича Романова в поддержку «крестового похода канцлера Хитлера».

После войны Сувчинский активно участвовал в музыкальной жизни Франции, переписывался с Жаком Деррида, организовывал стипендию Юлии Кристевой, а также восстановил контакты с Борисом Пастернаком и Марией Юдиной⁴³. Многолетняя переписка и сотрудничество Сувчинского с Сергеем Прокофьевым и Игорем Стравинским, включая соавторство с последним в работе над «Музыкальной поэтикой», уже достаточно хорошо исследованы историками музыки⁴⁴. Сувчинский внимательно следил за литературой о евразийстве, в его архиве сохранились библиографические выписки и оттиски статей послевоенного периода, посвященных этой теме.

В истории евразийства Сувчинский сыграл необычную роль: он не участвовал в выработке географического, лингвистического или этнографического понятия «Евразии», на котором, казалось, и строилась евразийская доктрина. Его вклад в общее дело – несколько статей по литературе, в которых была сделана попытка совместить модернистскую эстетику формы с романтической религиозностью, и квазифилософское обсуждение революции. Тем не менее именно Сувчинский – с его музыкальными контактами, увлеченностью Блоком, Пастернаком и Цветаевой, дружбой с художниками-авангардистами и Ильей Эренбургом, с его финансированием экспериментаторского театра – ключевая фигура для понимания евразийского феномена, его модернистского характера, связей с литературным, музыкальным и художественным контекстом русской культуры.

Петр Николаевич Савицкий

Петр Николаевич Савицкий родился в 1895 году на Украине, в Чернигове, в семье председателя земской управы. Будучи еще совсем молодым человеком, Савицкий активно занимался краеведением, публиковал статьи по истории украинской архитектуры и народного искусства. Среди оказавших влияние на молодого Савицкого – целая плеяда украин-

ских историков-краеведов: Ю.С. Виноградский, А.М. Лазаревский (автор известных работ о крепостном праве на Украине), В.Л. Модзалевский (составитель генеалогического списка малороссийских родов), с которым Савицкий издал книгу о Чернигове, писатель, статистик и народник М.М. Коцюбинский⁴⁵. В годы учебы в Политехническом институте Савицкий публикуется в редактировавшейся П.Б. Струве «Русской мысли», причем его статьи содержат идеи о «диалектическом понятии „первонации“». Украинский народ – одновременно самостоятельная нация и часть «большого национального целого»⁴⁶. Подобные схемы евразийцы будут впоследствии рисовать для Российской империи и ее народов. В 1916 году Савицкий закончил Петроградский политехнический институт, где он изучал политическую экономию под руководством Струве, и получил назначение коммерческим секретарем посланника в русскую миссию в норвежской Христиании. Там он работал под началом известного дипломата Константина Николаевича Гулькевича. После Октябрьского переворота Савицкий был вынужден вернуться на родину. Однако уже в 1918 году он покинул Чернигов. Вот как он описывал свои скитания во время Гражданской войны в письме К.Н. Гулькевичу:

Я видел режим центральной Рады, три месяца – силою слова и оружия, со своими друзьями офицерами, отстаивал черниговский хутор от большевистских банд, был освобожден немцами от осады, семь месяцев видел немецкий режим, сражался в рядах Русского корпуса (как нижний чин), отстаивавшего Киев от Петлюры, пережил падение Киева и вместе с отцом не то уехал, не то бежал из него, видел и касался французов в Одессе и дождался «славного» конца *occupation française*. С марта 1919 г[ода] по август был в Екатеринодаре и с августа по ноябрь барахтался в омутах российской «белой Совдепии», российского Юга, который был в то время освобожден от большевиков в эти месяцы. Несколько недель провел на фронте, жил в деревнях Полтавских и Харьковских, жил в Полтаве и Харькове, потом в Ростове...⁴⁷

Зиму и весну 1920 года Савицкий прослужил помощником представителя Всероссийского земского союза в Константинополе, занимаясь обустройством беженцев. Затем Струве привлек его к работе возглавлявшегося им Департамента внешних сношений Крымского правительства. Савицкий готовил статистические заметки по состоянию экономики занятых врангелевскими войсками областей, участвовал в попытке Струве обеспечить международную поддержку Врангелю летом 1920 года⁴⁸. Любопытно, что уже в июле 1920 года, задолго до софийской встречи евразийцев, находясь в Париже в составе делегации представителей Врангеля, Савицкий писал своим родным:

...Несмотря на очарование климата и элегантски парижан – начинаю снова стремиться на Восток. Хочу видеть вас, мои дорогие, и чувствую также, что сердце мое знает родину только в пределах Евразии, среди лугов и полей Черниговщины, степей Кубани, под пальмами Батума и в сутолоке Константинополя!... Усердно проповедую «евразийство». Но в Париже не найдешь Ливена... И добродетельные европейцы с ужасом внимают еретическим предвещаниям...⁴⁹

Будучи предусмотрительным и информированным человеком, за три месяца до эвакуации врангелевских войск из Крыма Савицкий обеспечил для своей семьи (родителей и брата Георгия) аренду имения Нарли близ Константинополя (как любил подчеркивать Савицкий, «на Азиатском берегу Босфора»), где после эвакуации в ноябре сам Савицкий, его отец, мать и брат организовали своего рода эмигрантское сельскохозяйственное товарищество⁵⁰.

В начале 1921 года Савицкий уезжает в Софию, где становится представителем П.Б. Струве при Русско-Болгарском книгоиздательстве, которому было поручено издавать журнал «Русская мысль»⁵¹. В конце 1921 года Савицкий (так же, как и Флоровский) перебирается из Софии в Прагу, где благодаря беспрецедентной «русской акции» чехословацкого правительства занимает должность преподавателя Русского юридического факультета.

Трудно переоценить роль Савицкого в евразийском движении и в выработке его идеологических постулатов. Поклонник Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского и почвовед В.В. Докучаева, именно Савицкий сформулировал основные географические и этнографические тезисы евразийства в своем отзыве на книгу Трубецкого «Европа и человечество»⁵². Скорее всего, именно Савицкому принадлежит первое использование терминов «Евразия» (для обозначения «российского мира») и «евразийство»: во всяком случае, в 1930 году в письме Якобсону Савицкий пишет, что придумал «Евразию» в 1918 году. Савицкому же принадлежит и теория соответствий, согласно которой мир Евразии обнаруживается в многочисленных совпадениях разнообразных характеристик: климатических, почвенных, географических, культурных. Савицкий был не только геополитиком и автором теории автаркического пространства – он участвовал в работе Пражского лингвистического кружка и был создателем структурной географии, оказавшей, по мнению Якобсона, значительное воздействие на образ мысли «пражан»⁵³.

Пожалуй, не менее важной для евразийства была организаторская работа Савицкого. Аскет в личной жизни, человек невероятной работоспособности, Савицкий на протяжении почти 15 лет жил исключительно евразийством, публикуя статьи и книги, организуя сборники, пропагандируя свою доктрину и вербуя сторонников. Человек трудного характера, Савицкий был тем не менее очень цельной натурой, полностью интериоризировавшей собственный текст и не подвергавшей сомнению его внутреннюю логику. Сконструированный евразийцами образ Евразии оказался для Савицкого реальностью. Он оставался верен ему всю жизнь, несмотря на заключение и ссылки, которым подвергла его «идеократическая Евразия».

Не вызывает сомнений, что Савицкий, как и остальные основатели евразийства, был вовлечен в политику. Он несколько раз тайно бывал в СССР, чтобы встретиться с представителями созданной ОГПУ евразийской организации. В программе евразийства 1927 года отмечено, что она написана в Москве. Савицкий оставил в своем архиве запись, подтверждающую, что он подготовил эту программу во время своего путешествия в СССР. С.Л. Войцеховский вспоминал, что видел Савицкого в Варшаве, у Ю.А. Артамонова, за несколько часов до отъезда на советскую границу⁵⁴. После распада евразийского движения Савицкий практически стал его единоличным главой. Ему удалось вновь получить небольшое пожертвование от Генри Сполдинга, и он продолжал евразийские публикации, в которых время от времени даже принимал участие Трубецкой.

В годы войны Савицкий, преподававший в немецком университете в Праге, был вынужден оставить службу, несмотря на все попытки предотвратить это увольнение через контакты с нацистами⁵⁵. Некоторое время он работал директором русской пражской гимназии, затем скрывался в Археологическом институте Кондакова, о чем пишет в своих воспоминаниях Н.Е. Андреев. Вместе с Андреевым Савицкий был арестован Смершем: Андрееву удалось чудом выбраться из Праги, тогда как Савицкий был осужден и провел десять лет в мордовских лагерях. Впоследствии Н.Е. Андреев вспоминал, что майор Смерша, допрашивавший Савицкого, не поверил в то, что изъятые у него патриотические стихи принадлежат его перу, посчитав это «маскировкой классового врага». Для проверки майор велел Савицкому сразу же написать стихотворение в честь Кубанской конной дивизии. Савицкий немедленно написал требуемое, а первая строка в стихотворении звучала так: «Нет имени

почетнее, чем конник, ведь конник создал Русь и защитил ее...»⁵⁶ Несмотря на столь успешную демонстрацию патриотизма, советские спецслужбы арестовали Савицкого и вывезли в СССР.

Савицкий провел в заключении полных десять лет. Здесь от ленинградских знакомых (в частности, ленинградский историк Мартынов упоминается в письмах Савицкого 1950-х годов) он узнал о работе Л.Н. Гумилева, с которым вступил в переписку (вдохновив его на теорию пассионарности) и которого всячески рекомендовал Г.В. Вернадскому⁵⁷. Когда Савицкий был освобожден из заключения, Андреев писал Вернадскому: «...Забыл написать, что Петр Николаевич Савицкий вернулся в Прагу и, кажется (Ек. Дм. Кусковой), „восторженно оценивает современную Евразию“. Бедный Петр Николаевич...»⁵⁸ Сам Савицкий в своих письмах друзьям и знакомым не устал подчеркивать, что его убеждения не только не изменились, но и окрепли.

Вернувшись в Прагу (на что ему было дано разрешение), Савицкий вскоре был снова арестован – уже чехословацкими властями. Поводом к аресту, вероятно, послужили его публикации в западных издательствах. Вмешательство ученых с мировыми именами, организованное Н.Е. Андреевым (по иронии судьбы, крупнейший либеральный философ XX века сэр Исайя Берлин принимал участие в освобождении Савицкого от режима, который основатель евразийства интеллектуально поддерживал!), совпало с очередной чисткой в чешском правительстве, и Савицкого выпустили. В обращениях к чешским властям об освобождении Савицкого приняли участие Н.Е. Андреев, И. Берлин, Д. Тредголд, Б. Рассел и Л. Шапиро. Зарабатывавший на жизнь переводами и случайными публикациями, Савицкий уже не вернулся к активной научной деятельности. Его письма конца 1950-х – начала 1960-х годов свидетельствуют о том, что его здоровье и психика были глубоко подорваны годами заключения. В 1968 году Савицкий умер в Праге.

Петр Семенович Арапов

Отъезд основателей евразийства из Софии привел и к пополнению рядов движения: в начале 1922 года к евразийцам присоединяется группа молодых офицеров-монархистов. Малообразованные и энергичные, они стали человеческим материалом не одного правого движения в Европе; эти «новые евразийцы» принесли с собой жажду практической деятельности, связи с правыми кругами эмиграции и готовность вовлечь политизированное евразийство в контакты с «подпольем» в Советской России. Значительный блок публикуемых в этом томе писем принадлежит перу одного из таких «новобранцев» Петра Семеновича Арапова, занявшего видное положение в евразийском движении⁵⁹.

Арапов родился в селе Воскресенская Лашма Наровчатовского уезда Пензенской губернии в 1897 году. Его семья была в родственных отношениях с Врангелями, генералу П.Н. Врангелю Арапов приходился двоюродным племянником. В отличие от основателей евразийства, так или иначе проявивших себя до революции, Арапов оставался совершенно неизвестен до момента своего знакомства с П.П. Сувчинским и Н.С. Трубецким. П.Н. Савицкий вспоминал, что Арапов учился в Пажеском корпусе, тогда как Л.В. Никулин в своем тенденциозном романе «Мертвая зыбь», основанном на документах ОГПУ-НКВД-КГБ, писал, что Арапов, как и Ю.А. Артамонов, – выпускник Александровского лицея⁶⁰. Известно о его службе в полку конногвардейцев до революции (вероятно, очень краткосрочном) и участии в Белом движении после нее. По свидетельству того же Савицкого, во время Гражданской войны Арапов принимал участие в массовых расстрелах, что отразилось на его психике⁶¹. Мы знаем из его переписки с Сувчинским, что в 1922 году он посещал университет в Кенигсберге, где познакомился с преподававшим там Н.С. Арсеньевым. Возможно, через

Арсеньева он вошел в круг интеллектуалов, в котором о евразийстве было более или менее известно.

П.С. Арапов принадлежал к иному типу людей, чем основатели евразийского движения. Он был не очень хорошо образован (хотя Савицкий, испытывавший определенный пиетет по отношению к аристократам, и вспоминал о нем как о «тончайшем снобе», знатоке нескольких языков), в евразийских сборниках нет ни одной его публикации. Скромные попытки Арапова и Малевского-Малевича комментировать статьи интеллектуалов (например, Карсавина) были встречены резким неприятием среди старших евразийцев. Стиль и качество письма Арапова, как демонстрируют публикуемые документы, резко отличаются от стиля и качества письма основателей евразийства. Следует все же отметить, что, несмотря на отсутствие у Арапова каких-либо серьезных публикаций, в архивах сохранились его довольно любопытные заметки (точнее, наброски). Эти бумаги позволяют понять, почему такие люди, как Трубецкой или Сувчинский, считали для себя возможным сотрудничать с Араповым. В частности, он оставил любопытную заметку о взаимоотношениях национализма и имперского государства в России, о которой речь пойдет ниже⁶².

Арапов был классическим представителем молодого поколения межвоенной Европы, сформированного фронтовым и революционным опытом. Именно Арапов привлек в евразийство целую группу белогвардейских офицеров, таких как П.Н. Малевский-Малевич и А.А. Зайцов. Именно он свел евразийцев с представителями «Треста» и, по некоторым сведениям, начал вербовать участников парижской группы для работы на ОГПУ.

Родственные связи Арапова обеспечивали ему прием в окружении П.Н. Врангеля в Брюсселе, а также в лондонском доме князей Голицыных, где проживала его мать, Д.П. Арапова. Именно благодаря Голицыным Арапов познакомился с Малевским-Малевичем и Генри Норманом Сполдингом, который финансировал евразийство на протяжении нескольких лет. По воспоминаниям Савицкого, Арапов обладал «исключительной внешностью», благодаря чему пользовался огромным успехом у женщин. Савицкий также утверждал, что, будучи глубоко циничным человеком, Арапов использовал этот успех для добывания денег на евразийство⁶³.

Несмотря на отсутствие каких-либо талантов ученого или литератора, Арапов быстро занял положение ведущего члена евразийской организации (впрочем, превращение евразийства в организацию и произошло под его влиянием: в одном из публикуемых в этом томе писем Арапов сообщает Сувчинскому о своей работе над программой, считая, что наличие таковой облегчит переговоры с «Трестом»)⁶⁴. Арапов занимался почти исключительно организационными и политическими делами евразийского движения, координируя работу его представителей, добывая средства на издательство и поездки, встречаясь с «друзьями» – очередными участниками «советского подполья». Несмотря на это, Арапов вряд ли был очень организованным человеком. (Характерна история со статьей П.П. Сувчинского, которую Арапов взялся переводить на французский язык. Не закончив работу, он вернул все материалы автору, прося освободить его от «евразийского слова».) Арапов тем не менее очень близко сошелся с Сувчинским, которому импонировало то, что тот считал себя его учеником.

Остается неясным, до какой степени Арапов был сознательным орудием в руках контрразведывательного органа ОГПУ (по меньшей мере до 1929 года). Сергей Эфрон на допросах в НКВД утверждал, что Арапов выполнял поручение ОГПУ. Однако Сергей Войцеховский, участник «Треста», считал его искренним евразийцем, ставшим жертвой мистификации «Треста»: во всяком случае, по словам Войцеховского, нет никаких свидетельств перехода Арапова на сторону большевиков⁶⁵. Однако тот факт, что Арапов не был агентом ОГПУ в 1923–1927 годах, вовсе не исключает того, что он мог стать агентом после 1928 года. Письма Святополк-Мирского Сувчинскому за 1929–1930 годы (в особенности

обсуждение раскола в движении и планов по перенесению деятельности левой евразийской группы в СССР) свидетельствуют, что Арапов к этому времени получал деньги из Советского Союза⁶⁶. Известно, что в 1922 году он сопровождал агента ОГПУ Якушева в Берлин. Учитывая, что операция «Трест» была направлена против генералов П.Н. Врангеля и А.П. Кутепова и группировавшихся вокруг них офицеров, вполне возможно, что Арапов случайно попал в поле зрения советских спецслужб, а затем уже, поверив в существование антисоветского подполья («подобно княжне Таракановой», по меткому выражению П.Б. Струве⁶⁷), вывел их на евразийцев, с готовностью принявших участие в спектакле советских агентов. Как бы то ни было, именно многократно посещавший СССР Арапов служил передаточным звеном между евразийцами и «Трестом».

Сомнительна роль Арапова и в тех взаимоотношениях между ведущими евразийцами, о которых идет речь в его письмах Сувчинскому. Арапов всячески пытается стравить Сувчинского с Савицким, все более и более демонстрируя просоветские настроения. После раскола евразийства и прекращения финансирования газеты «Евразия» в 1930 году Арапов уезжает в СССР, после чего его след теряется. По словам Войцеховского, писатель Николай Угрюмов (псевдоним А.И. Плюшкова) упоминал, что встречал Арапова в 1930-х годах в Соловецком лагере, где тот и погиб⁶⁸.

Арапов легко находил общий язык с представителями аристократической эмиграции: даже такие интеллектуалы, как Святополк-Мирский и Трубецкой, не свободные от аристократических предрассудков, были готовы многое простить социально близкому им Арапову. В письме к Сувчинскому Мирский проницательно писал: «Евразийство Арапова поло, как фашизм...»⁶⁹ В сохранившихся в архивах оценках, данных Савицким различным деятелям евразийства *postfactum*, Арапов описывается как человек, впервые познакомивший евразийцев с А.А. Якушевым (с ним Арапова свел Ю.А. Артамонов – еще один деятель «Треста», резидент генерала Кутепова в Варшаве). Кроме того, Савицкий пишет об Арапове как о подававшем надежды человеку, который тем не менее вел распушенный образ жизни и попадал «в самые невозможные обстоятельства». По мнению Савицкого, именно этот образ жизни и стал причиной того, что Арапов попал в сети ОГПУ и в конце концов погиб в СССР.

3

Пореволюционное поколение: «обессиливающей рефлексии чужды...»

Время – это смена поколений.

П. Сувчинский

В 1930 году Роман Якобсон написал статью о смерти Маяковского и таким образом закрыл для себя возможность возвращения в СССР. В этой статье Якобсон писал о «промотавшемся поколении», впервые в своей работе обратившись к собственному историческому опыту. Социологи давно отвергли вольное использование термина «поколение» историками и литературоведами¹. В социологической литературе под поколением понимается прежде всего нисходящая структура родства, тогда как предложенное Карлом Маннгеймом понимание поколения как группы, объединенной историческим опытом или просто одинаковым периодом жизненного цикла, принято называть когортой². Тем не менее именно о поколении говорил Р.О. Якобсон, описывая людей, родившихся в 1890-х годах, причем их принадлежность к поколению для Якобсона определялась не только возрастом, но и культурным миром и исторической эпохой, их сформировавшими (характерно, что одним из первых слушателей, «ошеломленных» статьей о «поколении, растратившем своих поэтов», был Савицкий)³.

Не вызывает сомнений, что основатели евразийского движения принадлежали к одной «когорте» с точки зрения социологической. Большинство из них родилось в начале 1890-х годов и вступило в университетскую среду в 1910-х. За рамками их исторического опыта осталось всеобщее увлечение марксизмом. Они в большинстве своем не застали голод начала 1890-х годов в России, и в критическое для освободительного движения десятилетие, предшествовавшее революции 1905 года, были в возрасте младших школьников. Большинство евразийцев – поколение 1890-х – вступило в сознательную жизнь накануне Первой мировой войны, когда Российская империя, казалось бы, вошла в свой самый «нормальный», европейский период развития. Политика, как тогда представлялось, стала делом профессионалов, высокая культура – традиционный инструмент политической активности в России второй половины XIX века – под влиянием модернизма все больше равнялась на принцип «искусство ради искусства». Покидая университеты в 1913–1914 годах, будущие евразийцы уже не были интеллигентами – людьми, которых объединяло мировоззрение, сконцентрированное на радикальной критике существовавшего в России социального и политического порядка. Скорее они были интеллектуалами в общеевропейском смысле слова, для которых мифология радикальной интеллигенции не обладала ни привлекательностью, ни необходимостью. Мир, в который вошли евразийцы, – это мир буржуазной эдвардианской культуры, семейных традиций, гимназического и университетского образования, мир профессиональных карьер или, в крайнем случае, мир богемы. Проявившись в полной мере после войны и революции, поколенческая энергия будущих евразийцев была направлена не против существовавших в России остатков самодержавия, но против появлявшейся в ней буржуазной среды и против той культуры, которую они называли «европейской» и «романо-германской». Энергия эта была направлена не на пропаганду социализма: они вступили на путь, который в других европейских странах вел к возникновению правой критики современного общества, к поиску новых форм органического государства и коллективных ценностей. Это поколение мало волновали вопросы, которыми задавались представители старшего поколения, например, о возможности идеализма или об отношении к государству. С началом Первой мировой войны ориентация на «нормальность» существования интеллектуальной элиты в рос-

сийском обществе (вероятно, впервые со времен Великих реформ) и жизненные сценарии молодых людей, нацеленные на профессиональную самореализацию, были сломаны. Перелом в личных судьбах и распад страны были осмыслены многими из них как кризис буржуазной западной культуры, в которую они, казалось, столь успешно интегрировались и которой они изначально пытались следовать. В несбыточности надежд юности была обвинена «порочная» культура европейской модерности, которая саморазрушительно ввергла Европу в катастрофу мировой войны. По сути, поколение будущих евразийцев отрицало те ценности, которые еще только начали распространяться в предреволюционной России и которые ожидал неминуемый крах: борьба с индивидуализмом, рационализмом, буржуазной усредненностью – предмет желаний будущих евразийцев – была перенесена ими из России кануна 1914 года в Европу 1920-х годов.

Евразийцы были выходцами из привилегированных социальных слоев: Н.С. Трубецкой и А.А. Ливен принадлежали к московской аристократии, П.П. Сувчинский происходил из семьи высокопоставленного бюрократа-промышленника и миллионера. К военной и чиновной аристократии принадлежал и Арапов. Д.П. Святополк-Мирский, которого Горький назвал в одном из писем «потомком Святополка Окаянного и специалистом по истреблению братьев», как и Трубецкой, являлся потомком титулованной аристократии, причем его отец, известный министр внутренних дел, пытавшийся найти общий язык с общественностью, подобно С.Н. Трубецкому имел репутацию либерала. Семья П.Н. Савицкого, несмотря на наличие родового имени Савищево под Черниговом и земские связи (отец Савицкого, Николай Петрович, был председателем Черниговской земской управы и тоже считался либералом), по образу жизни и пристрастиям была скорее фермерской, нежели дворянской, причем веру в спасительный труд на земле ее члены сохранили и в эмиграции. Характерно, что Савицкий часто чувствовал себя не в своей тарелке среди гвардейцев и аристократов (об этой неуверенности Савицкого писал и Трубецкой в своих письмах Сувчинскому).

Большинство евразийцев едва успело получить образование и начать самостоятельную жизнь до Первой мировой войны. У всех евразийцев начало это было многообещающим, и все они имели основания рассчитывать на успешную карьеру в избранной сфере деятельности. Сувчинский, Трубецкой и Савицкий могли похвалиться участием в культурной, научной и политической жизни страны: Трубецкой – своим успешным вступлением в университетский мир Москвы и блестящей академической карьерой, Сувчинский – контактами в богемных кругах, статусом признанного патрона и знатока музыки, Савицкий через П.Б. Струве был частью научно-политического мира, где господствовали либералы и политэкономы. Не вызывает сомнения, что революция, Гражданская война и эмиграция разрушили все их надежды и поместили будущих евразийцев в искусственный и ограниченный мир беженства. Это обстоятельство послужило важным эмоциональным фактором, под воздействием которого основатели евразийства воспринимали элиту «канунной» России. Едва успев войти в активную жизнь предреволюционной России, будущие евразийцы вынуждены были оставить привычный им мир. Все они испытали потрясения революционных лет, в той или иной мере участвуя в Гражданской войне (хотя большинство не принимало участия в военных действиях). Разумеется, их симпатии были на стороне Белого движения, с которым их связывали мириады нитей – родства, знакомства, дружбы.

В то же время евразийство с момента своего появления летом 1921 года объявило себя новой силой. В частных письмах и в опубликованных текстах евразийцев звучало неприятие практически всех политических и интеллектуальных групп эмиграции. Более того, евразийцы видели себя новым поколением, свободным от ошибок и заблуждений старших. Конструируя собственную идентичность, евразийцы, безусловно, использовали традиционный троп в истории культуры: *modernes*, отрицающие *ancienes*, фигурируют в истории идей со времен Платона и Аристотеля. Апелляция к новизне сама по себе уже является капита-

лом на культурном рынке; подобно тому, как дискурсивное конструирование социальной группы наделяет властью конструирующего, очерчивание временных, поколенческих границ в философской или литературной традиции наделяет их «создателя» властью над этой традицией и способностью легитимировать собственные интерпретации и делегитимировать как целые исторические периоды, так и отдельные проявления *Zeitgeist*'а. В предложенном евразийцами языке поколенческие мотивы имели особое значение, подчеркивая – в традиционном модусе сражений «древних» и «новых» – модерность нового поколения. Они отрицали связь своего поколения с интеллектуалами предреволюционной России, которые, по мнению евразийцев, не были представителями «национального» возрождения, поскольку следовали представлениям европейской и буржуазной культуры. Новое же поколение, естественно, было судьей.

Евразийцы сразу же определили свое отношение к «двум мирам» русского XIX века: к миру радикальной интеллигенции и к миру «национальному» и «религиозному»⁴. В исторической концепции евразийцев радикальная интеллигенция символизировала то, к чему приводят заимствования чуждых Евразии идей и институтов Европы. Тем более парадоксально, что евразийцы не принимали и представителей того поколения, которое являлось идейным вдохновителем сборников «Проблемы идеализма» и «Вехи». Казалось бы, призыв к идеализму и критика утилитарности во взглядах радикальной интеллигенции, высказывавшиеся С.Н. Булгаковым, П.Б. Струве или Н.А. Бердяевым, должны были апеллировать к религиозным взглядам евразийцев. Так же, как и старшие профессора, евразийцы являлись людьми религиозными и считали православие важнейшим фактором культурной жизни России; подобно Струве, они были яркими националистами и сторонниками территориальной экспансии и государственного величия. Однако именно это поколение религиозных философов, прошедших трансформацию от марксизма к той или иной форме идеализма, было евразийцам особенно чуждо. Так, Трубецкой в письме Сувчинскому характеризовал Бердяева «прежде всего как человека легкомысленного». Он с осуждением вспоминал, что однажды Бердяев говорил ему о том, что христианство устарело и в нем чувствуется необходимость в женском божестве⁵. Обсуждая вопрос о возможном участии в движении Карсавина, Трубецкой (этому противившийся) напоминал Сувчинскому «о нашем старом правиле не привлекать никого из старшего поколения»⁶. Оценивая своего дядю, Григория Николаевича, Трубецкой говорил о его боязни определенности, которая «чрезвычайно типична для всего этого поколения»⁷. В свою очередь Сувчинский, сообщая Трубецкому о прибытии в Берлин высланных в 1922 году из России интеллигентов, писал:

Приезд высланных я переживаю как величайшее бедствие. Когда приехала первая группа (Франк, Бердяев, Ильин) – в этом был какой-то *индивидуальный* отбор людей. Теперь же попросту, как кусок дерна с одного кладбища на другое, как кусок мертвой кожи, пересадили окончательно отживший культурный пласт из России в Берлин для чего? – Конечно для того, чтобы возглавить эмиграцию, говорить от ее имени и тем самым не позволить народиться ничему новому, живому и следовательно *опасному* для большевиков.

Ведь если Ленин, говоря и действуя *от имени России*, по существу ничего общего с ней не имеет, то ведь и та интеллигенция, которая конечно с расчетом выслана большевиками, *никого* больше не представляет и будет только компрометировать эмигрантские новые поколения...⁸

В 1924 году евразийцы посчитали нужным объяснить, в чем же они обвиняют поколение религиозно-философского ренессанса. В статье «Идеи и методы», опубликованной в четвертом «Временнике», Сувчинский писал:

«Нигилистический морализм» и воинствующий материализм были осуждены, и вместо них, выражаясь формулами из «Вех», раздались призывы к «конкретному идеализму» и «религиозному гуманизму»... Однако, сколь ни радикальной казалась общая смена направлений, она на деле не смогла повлиять на широкий ход развивавшихся событий, и, несмотря на «обновленные идеалы», вторая революция прорвалась и проходит под фанатическим водительством отживших принципов воинствующего материализма... К несчастью... религиозное и идейно-общественное «возрождение» 90-х и 900-х годов не было обращено на широкую общенациональную работу, не стало заданием эпохи и оказалось значащим лишь в ограниченной среде интеллигенции, переживавшей свой внутренний кризис...⁹

Сувчинский обвинял религиозно-философский ренессанс в связях с «внецерковным богоискательством» и «революционной романтикой». Философский декаданс Серебряного века с его интересом к сектантству, мистическими и символическими «томлениями» и стремлением к *индивидуальному* религиозному и моральному обновлению оказался чужд проповедовавшейся Сувчинским целостной системе мировоззрения, в которой догматически чистая религиозность должна была сочетаться с евразийской историософией и политикой.

Отвергая философские искания начала века как недостаточно «национальные» или «церковные», евразийцы критически относились и к С.Н. Булгакову, восстановившему в эмиграции Братство Св. Софии. Оно замышлялось как православная организация, объединяющая верующих интеллектуалов и поддерживающая церковную иерархию и интеллектуальную деятельность на пользу Церкви. К вступлению в Братство были приглашены и евразийцы. Несмотря на то что они во многом разделяли цели Братства, евразийцы усмотрели в деятельности Булгакова попытку создать прокатолический орден. Экуменические интересы и связи отца Сергия, участника интенсивных контактов протестантов и православных, были еще более неприемлемы для евразийцев, ненавидевших Европу и ассоциировавших ее с латинским христианством. Обсуждая с Булгаковым идею Братства, евразийцы в то же время подготовили к печати сборник «Россия и латинство», во введении к которому Савицкий сравнил католичество с большевизмом. В этой характерной оговорке Савицкого приоткрывается связь между «католичеством», «Европой» и большевизмом, которую видели евразийцы, что проливает свет на семиотическую функцию православной религиозности евразийцев¹⁰. После публикации «России и латинства» Булгаков объяснял свое сотрудничество с евразийцами (в частности, участие в планировавшемся Флоровским журнале «Устои») публичным отказом Савицкого от своего сравнения¹¹.

Характерно, что неприятие евразийцами «стариков» не ограничивалось только лишь философами и «старыми профессорами». Для евразийцев всегда было важным подчеркнуть свое отличие не только от тех, кого правые круги Белого движения, а затем и эмиграции считали соучастниками «национальной катастрофы», — кадетов и эсеров. Объявив себя новой, третьей силой, осознавшей революцию и стремящейся к ее преодолению, евразийцы с одинаковым скепсисом относились и к монархистам, доминировавшим в эмигрантских кругах, и к военным, группировавшимся вокруг Врангеля (в своем письме Сувчинскому Трубецкой замечает, что галлипольцы, прибывшие в Софию, его «раздражают»¹²).

Любопытно и развитие конфликта между евразийцами и П.Б. Струве. Как известно, на протяжении своей интеллектуальной и политической карьеры Струве медленно, но верно двигался слева направо, пройдя всю палитру от марксиста в 1880-1890-х годах до национал-либерала и монархиста – в эмиграции¹³. Автор манифеста российской социал-демократии, вдохновитель Союза освобождения и один из ведущих кадетов, Струве после революции 1905 года практически порывает с революционными и демократическими кругами. Пожалуй, самый последовательный либеральный националист в предреволюционной России, он категорически не принимал революцию и настаивал на продолжении борьбы с большевиками. В эмиграции Струве превратился в своего рода символ консервативного национализма, встав во главе монархистов и правых либералов, направивших свои усилия на объединение эмигрантского сообщества на платформе «непредрешенчества» и борьбы с большевиками. Напомним, что именно Струве был председателем созданного с этой целью в 1926 году Зарубежного съезда. Для Струве разгром Белого движения объяснялся не провалом его политики, а лишь недостатками военной организации¹⁴.

Струве был достаточно тесно связан с евразийцами. Савицкий был его учеником в Политехническом институте в Петрограде и сотрудником в Крымском правительстве. В Софии Савицкий финансово зависел от Струве, который назначил его своим представителем при Русско-Болгарском книгоиздательстве, где должны были печататься книжки журнала «Русская мысль» (чтобы сохранить место, Савицкий на протяжении 1921 года вынужден был избегать объяснения со своим учителем, недовольным евразийскими идеями). По свидетельству Савицкого, летом 1921 года в Софии происходили жаркие дискуссии, в которых он сам и Струве спорили с Н.С. Трубецким¹⁵. Можно предположить, что в ходе этих дискуссий обсуждались неославянофильские идеи Трубецкого об истинном и ложном национализме: сам Трубецкой вспоминал в письме к Сувчинскому, что евразийство родилось из споров вокруг его «Европы и человечества». Струве изначально приветствовал националистическую позицию евразийцев, которая во многом совпадала с его собственной версией патриотизма, пропагандировавшего слияние нации и государства. Один из немногих интеллектуалов предреволюционной поры, кто прекрасно осознавал значение фактора многонациональности в российской истории, Струве предлагал свой проект имперского национализма, предполагавшего различные формы ассимиляции в русскую нацию всех народов при условии «развязывания» стихийных сил свободного общества. Более того, Струве не отрицал и большевистской энергии. В 1921 году он писал Савицкому, который старательно пытался примирить своего учителя с евразийством:

Я с большим интересом прочел Ваше письмо. Основная его мысль, которую Вы облачаете в формулу «разрыв с традиционализмом», – совершенно верная. Воскресить Россию могут только новые люди, которые будут психологически представлять некое соединение «Вех» с большевизмом¹⁶.

Однако впоследствии Струве с подозрением стал относиться к евразийскому «большевизанству», а в самом евразийстве (в особенности в неославянофильских работах Трубецкого) видел элементы народничества, которое он считал «сифилисом русской мысли»¹⁷. Струве разгромил в печати близкую евразийцам по духу статью К.И. Зайцева, опубликованную, вероятно, при участии Савицкого в первом номере «Русской мысли»¹⁸. Для автора сборника «Patriotica» российский национализм был неотделим от либерализма (пусть даже консервативной его версии), а романтический поиск народного духа и оправдание революции как освобождения этого духа, по мнению Струве, означали морально преступное оправдание самого большевизма. Иногда колкие замечания Струве о евразийстве попадали прямо

в цель. Так, например, в 1925 году он сравнил евразийство с княжной Таракановой, так же верившей в существование заговора в ее пользу на территории России¹⁹. Справедливости ради отметим, что и сам Струве не избежал ловушки «Треста», отправившись в 1926 году на переговоры с представителем подпольной организации в Варшаве²⁰.

Евразийцы платили Струве той же монетой. Евразийский «тонус» не оставлял места для струвианского увлечения личной свободой, а сам Струве ассоциировался прежде всего с непониманием старой интеллигенцией нового пореволюционного мира и с ответственностью за проигранную Гражданскую войну. Для большинства евразийцев Струве был лишь представителем «старых гримз», не сумевшим «преодолеть своего интеллигентства» и понять необратимые изменения, происшедшие в России во время революции и Гражданской войны. Евразийцы обвиняли Струве и в том, что его идеи «Великой России», основанные на «идеалистическом гуманизме», были так же чужды народному духу православия, как и религиозно-философский ренессанс²¹. Струве настаивал на активном продолжении борьбы с большевиками, считал революцию досадной исторической несуразностью, тогда как историческая концепция евразийцев предполагала закономерность крушения старой России. Евразийцы относились с раздражением и непониманием и к идее вооруженной борьбы с большевизмом, поскольку, по их мнению, такая борьба по сути являлась борьбой с новым Российским государством, обещавшим исполнение евразийских национальных и государственных проектов. «Струве нам не нужен», – объявлял Трубецкой, добавляя: «Не знаю вообще, кому он нужен»²². Более того, между Струве и Савицким возник личный конфликт, связанный с тем, что Струве пытался блокировать получение Савицким стипендии чехословацкого правительства, на которую он прочил другого своего ученика, К.И. Зайцева. И хотя впоследствии, несмотря на неоднократные обмены резкими выпадами, доходившими до оскорблений, Савицкий все же принимал участие в подготовке юбилейного сборника для «неистового Петра», в конце 1921 года он с горечью писал своим родным из Софии, накануне отъезда в Чехословакию:

Трубецкой, находясь в Праге и не зная о моем туда приглашении, возбудил в комиссии академического съезда вопрос о предоставлении мне стипендии. Ему возражали (также не зная о состоявшемся приглашении!) – кто бы вы думали... Струве! Поставив четырех кандидатов, в том числе Остроухова, Долинского и Зайцева – он заявил обо мне, что мой отец «арендует большое имение под Конст[антино] – полем и потому может содержать меня на собственный счет в Софии, где к тому же превосходные библиотеки!» Что это: непонимание, глупость или...? Что бы это ни было, – такой оборот дела, когда Учитель выступает против Ученика, – ясно показывает, что если стоит реализовать пражское приглашение – медлить нечего и нечего ждать решения медлительных болгар. Я вижу, что нужно немедленно же ехать в Прагу. А П.Б. [Струве]: ласкает покорных, топит еретиков... Воля Господня и Господь укажет, кому вознестись, а кому остаться бесплодным!..²³

Оппозиция евразийцев по отношению к Струве была симптоматичной: евразийцы не принимали все старшее поколение «профессоров». Пожалуй, один только Карташев, чья «галлиполийская мистика» – пропаганда нового национального единства, в центре которого стояли армия и фронтовое братство, сфокусированные в опыте «галлиполийского сидения», – должна была импонировать евразийцам, оценивался ими неоднозначно²⁴. Одним из объяснений такого неприятия служит стремление евразийцев осудить «декадентствующих» деятелей религиозно-философского ренессанса, чей религиозно-философский поиск

они связывали с вырождением русской интеллигенции, ее «греховностью», неспособностью почувствовать грядущие изменения накануне революции и оторванностью от «народной толщи». Надо отметить, что подобные ощущения были характерны не только для евразийцев. В своих воспоминаниях 1940-х годов бывший эсер Федор Степун писал:

...хорошо мы жили в старой России, но и грешно. Если правительство и разлагавшиеся вокруг него реакционные слои грешили главным образом «любоначалием», то есть похотью власти, либеральная интеллигенция – «празднословием», то описанные мною... [культурные] круги повинны, говоря словами все той же великопостной молитвы Ефрема Сирина, в двуедином грехе «праздности и уныния».

Дать людям, рожденным после 1914 года, правильное представление об этом грешном духе, об его тончайшем аромате и его растлевающем яде не легко. Дух праздности, о котором я говорю, не был, конечно, духом безделья. Наша праздность заключалась не в том, что мы бездельничали, а в том, что убежденно занимались в известном смысле все же праздным делом: насаждением хоть и очень высокой, но и очень малосвязанной с «толщью» русской жизни культуры... «праздность» культурной элиты «канунной» России заключалась, конечно, лишь в том, что, занимаясь очень серьезным для себя и для культуры делом, она, с социологической точки зрения, занималась все же «баловством»²⁵.

Однако если евразийцы обвиняли старшее поколение в непонимании и легкомыслии, то и для старшего поколения нелегко было принять евразийские «предчувствия и утверждения». Как отмечал Н.В. Рязановский, большинство эмигрантов старшего поколения зачастую не могли понять и тем более принять экзальтированные пророчества евразийцев²⁶. Критика евразийства раздавалась как из либеральных, так и из монархических кругов. Если для либералов неприемлемой была интерпретация России как особой цивилизации и увлечение разными формами квазитоталитарного государственного устройства, то у монархистов и традиционалистов смущение вызывал «азиатизм» нового движения и его двусмысленная позиция по отношению к большевикам. Характерно в этом плане письмо Флоровскому от отца Сергия Четверикова, жившего сначала в Югославии, а затем в Братиславе и сотрудничавшего с бердяевским журналом «Путь». Четвериков был намного старше евразийцев. Не будучи известным интеллектуалом, он обладал определенной популярностью как руководитель РСХД. Вот что писал Четвериков Флоровскому о евразийстве:

...Евразийство расширяет область русской культуры и в этом может быть право. В то же время, е. [евразийство] ничего не оставляет на долю русского народа как такового, он становится «Евразией», т. е. не имеет своей физиономии... У славянофилов было как будто иначе: хотя они и не занимались изысканием всех элементов, воздействовавших на русскую культуру, но зато они точно и определенно указывали особенности русской культуры и не придумывали особого термина для ее обозначения. Не мешало б и евразийцам заняться точным установлением того, что нам дали азиаты, что нами заимствовано от Европы, и наконец того, что лежало в нашей собственной культуре... Но меня очень соблазняет готовность Ваша и Сувчинского «принять революцию». Признать ее необходимость. Я знаю, что Вы различаете «принятие революции» от ее нравственного оправдания, но все же я думаю, что вы идете по очень опасному острию. Кто принимает революцию, считает ее необходимой, тот уже неизбежно в некотором смысле ее оправдывает... Признание революции необходимой – даст основания

революционерам и коммунистам считать свое выступление и свои действия необходимыми, а следовательно, и не заслуживающими осуждения. Мне кажется, этот пункт у Вас обоих, а следовательно, и в евразийстве, слаб. И не напрасно, следовательно, Вас в некоторой степени упрекают в том, что Вы оправдываете, или по крайней мере не осуждаете, большевизма²⁷.

Подобная реакция лишь убеждала евразийцев в том, что они действительно представляют собой новое поколение, являются людьми нового типа, весьма отличного от старой интеллигенции – как революционной, так и веховской. В известном письме «младшему» евразийцу М.Н. Эндену Савицкий кратко охарактеризовал отношение участников движения к старшему поколению мыслителей религиозного ренессанса:

Они (софийцы) ощущают в нас иную, отличную от «них» волевою природу. Евразийцы по своему духовному состоянию и по своим общественным действиям по сути новые люди, по сравнению с господствующим типом предыдущих поколений; Бердяев... признавал это; «они» разъедены рефлексией; мы (хорошо это или плохо) обессиливающей рефлексии чужды. В этом смысле Г.В. Флоровский, например, принадлежит скорее к «ним», чем к нам. Я это сказал об о. Сергии (Булгакове). То же, в несколько иной форме, можно сказать о Н.А. Бердяеве. Тем не менее, в А.В. Карташове вышеупомянутая природа уживается с чем-то еще, что делает его ближе к нам, чем к «ним»...²⁸

В этой оценке Савицкого, действительно, звучат новые мотивы. Описывая отличие евразийцев от других поколений, он использует язык многочисленных ультраправых движений меж-военной Европы. Выросшие на почве, удобренной войной, революциями и экономическими кризисами, эти движения отличались антиинтеллектуализмом, настаивали на приоритете «действия» и эстетизировали политику. Объявляя и ощущая себя новым поколением, евразийцы освобождались от идей и концепций XIX века, когда личная свобода могла уживаться с романтическим поиском народного духа. Новый романтизм евразийского поколения, отрицавший поиски индивидуального религиозно-философского обновления, готовился сочетать народный дух и религиозность с обоснованной наукой структурой, создавая сложную картину евразийской тотальности. Неудивительно на этом фоне, что евразийские профессора и эстеты нашли общий язык с бывшими офицерами, такими как Арапов, Малевский, Зайцов или Меллер-Закомельский.

Однако современники часто улавливали только эмоциональную и эстетическую компоненту евразийства, в то время как его системность и структурализм ускользали от внимания традиционных критиков (ср. кизеветтеровское «евразийство – это эмоция, вообразившая себя системой...»). Так, Бердяев в своей снисходительной (и в то же время глубокой) рецензии на евразийские выступления писал:

Евразийство есть прежде всего направление эмоциональное, а не интеллектуальное, и эмоциональность его является реакцией творческих национальных и религиозных инстинктов на происшедшую катастрофу. Такого рода душевная формация может обернуться русским фашизмом²⁹.

Бердяев признавал, что евразийцы – это новое поколение, выросшее во время войны и революции, которое «не чувствует себя родственным нашему религиозному поколению и не хочет продолжать его заветов. Оно склонно отказаться от всего, что связано с постановкой проблемы нового религиозного сознания. Воля его направлена к упрощению, к элементаризации, к бытовым формам православия, к традиционализму, боязливому и подозрительному ко всякому религиозному творчеству». Верно оценив отношение евразийцев к своему

поколению, Бердяев ошибался в одном: евразийский «синтез» предполагал размах и сложность и, отрицая религиозные искания Серебряного века, евразийцы одновременно предложили свое видение системы, в которой религия, государство, наука и эстетика соединяются в тотальную целостность, вооруженную научным аппаратом зарождающегося структурализма. Такая система отражала новый век с его всеохватывающими идеологиями и исчезновением индивидуальной свободы, от которой Бердяев отказаться не мог.

Отрицая поколение религиозно-философского ренессанса, тесным образом связанного с наследием Владимира Соловьева, и поколение «Вех», объединившее в себе элементы западнического и славянофильского дискурсов, евразийская риторика стремилась к делегитимизации двух самых серьезных своих конкурентов на политико-культурном рынке эмиграции: влиятельного в студенческих кругах софианского движения С.Н. Булгакова, к которому в той или иной степени примыкало большинство мыслителей религиозно-философского ренессанса, и разрабатываемых П.Б. Струве проектов национализма как противовеса большевизму. Эта дискурсивная борьба вовсе не ограничивалась, однако, лишь стремлением нейтрализовать соперников. Отрицая два самых заметных феномена интеллектуальной жизни предреволюционной России как «следование за Европой», Трубецкой, Сувчинский и Савицкий создавали ощущение новизны своей идеологии и провозглашали разрыв с традицией публицистической и философской мысли России конца XIX – начала XX века. Упрекая эту традицию в декадентстве, европеизме и отрыве от народной жизни, евразийцы пытались легитимировать собственную доктрину как аутентичную и отражающую «истинную» суть российской истории, культуры, православия и т. д.

Евразийцы перенесли в Европу 1920-х годов свое разочарование прерванной «нормализацией» России в последние годы ее существования, став русским фашистским движением, которое в силу исторических обстоятельств оказалось за рубежом. Безусловно, критикуя и ненавидя Европу, они критиковали и ненавидели те черты предвоенной России, которые считали «европейскими». В процессе развития поколенческой риторики евразийцев в первой половине 1920-х годов выкристаллизовалась новая идеология, которая претендовала на роль новой основы мировоззрения русских националистов.

4

Евразийские вариации: в поиске целого

Евразийство представляет собой один из немногих случаев, когда классификация интеллектуального и политического движения по принципу аналогии не является методом, с помощью которого можно описать все аспекты этого движения. Евразийство может рассматриваться как консервативная идеология, направленная против либеральных ценностей западноевропейского государства; как модернистское течение, которое реанимировало романтический дискурс, адаптировав его к современным условиям; как фашистская идеология, превратившая политику из процедуры в эстетику; как движение представителей интеллектуальной элиты страны, где модернизация была поздней и неравномерной и где в связи с этим идеи часто опережали социально-экономическое развитие, создавая благоприятный климат для *ressentiment* интеллектуалов – феномен, который можно наблюдать в современных развивающихся странах; как авангардное научное течение, сформировавшееся под влиянием размышлений об истории России и принявшее участие в создании новой научной парадигмы – структурализма; наконец, как вариация на тему русского национализма или империализма. Если провести нити от каждой из этих тем, они, вероятно, пересекутся в проблеме взаимоотношений современного русского национализма – прежде всего, как конструкции интеллектуалов – и исторического факта существования империи. Евразийство с его многочисленными аспектами стало возможно в том зазоре, который возникает между национализмом – продуктом нормативного знания в социальных и политических науках, основанном на историческом опыте западного национального государства, – и империей, которая, как мираж, появляется на каждом этапе развития современного национализма в России и «путает карты», подменяя собой «нацию». Отсюда и евразийский национализм, который растворяет свой собственный субъект в некоем наднациональном конструкте, и настойчивое отрицание генетических признаков, и стремление соединить, казалось бы, несоединимое – империю и национализм, и попытка подвергнуть критике саму концепцию западного национального государства.

За век до появления евразийства победа Российской империи и ее союзников над Наполеоном и вторжение во Францию вызвали подъем национального самосознания и стали тем культурным ферментом, который вызвал к жизни философские кружки Любоумовых и привел к появлению феномена Чаадаева и славянофилов. В немалой степени в этом культурном брожении был заложен механизм конфликта: Российская империя победила носительницу идей Просвещения и свободы; в петербургских и московских салонах французская традиция свободомыслия уступила место традиции романтизма, возникшей отчасти в качестве реакции на Просвещение, принесенное в Германию французскими штыками¹. Наполеоновские войны – грандиозный источник трансформации философской мысли в Европе – вдохновили и Гегеля, увидевшего в наполеоновской империи осуществление телоса истории, пришедшей к своему концу².

Российская революция и Гражданская война были сопоставимы с теми событиями столетней давности, во всяком случае по своим последствиям для интеллектуальной жизни российской эмиграции межвоенной поры – эпохи, когда общеевропейская культура реагировала на кризис, вызванный Первой мировой войной³. Для евразийцев революция стала семантическим узлом, в котором были завязаны история страны, судьбы христианства, колониальные проблемы, религиозная и формалистская эстетика, «упадок Запада» и конец XIX века с его позитивизмом и либерализмом, новые методы научного знания и идеал нового тоталитарного государства. Революция стерла границу между этими понятиями и частными

биографиями, превратив 30-летних энергичных людей в профессиональных эмигрантов. Их попытка осмыслить революцию, «прожить и преодолеть» ее породила многоуровневый язык евразийской идеологии, в котором отразились поиск тотального и целого и зарождение новых инструментов романтического дискурса в XX веке.

Прежде всего, революция, по их мнению, продемонстрировала верность славянофильского тезиса о «разрывах» в российском обществе⁴. Евразийцы отказывались считать революцию исключительно социальным феноменом: для них она была революцией культурной. Восстание народных масс против образованных классов означало крах европейского проекта национального, «органического» государства, что лишало легитимности связанный с этим проектом «западнический» дискурс⁵. Являясь «культурным взрывом», революция трансформировала восприятие прошлого, и путь к катастрофе стал выглядеть единственно возможным: если в конце XIX века разрывы в «национальном теле» оставались предметом гипотетических построений, то революция, казалось, наглядно подтвердила их существование⁶. Объяснение этому культурному катаклизму было заимствовано из традиционной славянофильской схемы отчуждения народа от верхов общества. В этом евразийцы, как замечали уже их современники, не были ни новы, ни оригинальны⁷. Подобными объяснениями была полна эмигрантская печать 1920-х годов⁸. Более того, «тоталитарные» философии конца XIX – начала XX века в Европе были связаны с процессами модернизации и национализации общества: сопутствуя друг другу, они часто виделись как противоположности⁹. Модернизация экономических, политических и социальных структур выступала как внешне очевидная угроза целостности национального организма, вызывая к жизни попытки преодолеть ее последствия в поиске метафизических истоков нации¹⁰. Подобным же образом культурное столкновение французского Просвещения с немецким миром провоцировало поиски «абсолютного духа», параллельно которому развивался и «дух народа».

Как и славянофилы, евразийцы отвергали петербургский период российской истории как порождение чуждого «романогерманского» мира, насаждение институтов которого в Московском царстве привело в конечном итоге к революции. Среди евразийцев распространялось написанное в августе 1920 года стихотворение Марины Цветаевой «Петру» (из сборника «Лебединый стан», полностью опубликованного только в 1956 году в Мюнхене) —

Савицкий старательно перепечатал его на своей машинке, а друживший с Цветаевой Сувчинский получил от нее автограф¹¹:

Вся жизнь твоя – в едином крике:
– На дедов – за сынов!
Нет, Государь Распроевелекий,
Распорядитель снов,

Не на своих сынов работал, —
Бесам на торжество! —
Царь-плотник, не стирая пота
С обличья своего.

Не ты б – всё по сугробам санки
Тащил бы мужичок.
Не гнил бы там на полустанке

Последний твой внучок³.

Не ладил бы, лба не подъямля,
Ребятчих кораблѐв —
Вся Русь твоя святая в землю
Не шла бы без гробов.

Ты под котел кипящий этот —
Сам подложил углей!
Родоначальник — ты — Советов,
Ревнитель Ассамблей!

Родоначальник — ты — развалин,
Тобой — скиты горят!
Твоею же рукой провален
Твой баснословный град...

Соль высолил, измылил мыльце —
Ты, Государь — кустарь!
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!

Но нет! Конец твоим затеям!
У брата есть — сестра...
— На Интернационал — за терем!
За Софью — на Петра!

Август 1920

Образ Петра, насильственно ломающего естественный ход русской истории и таким образом подкладывающего угли под кипящий котел России, — это сжатое изложение того, что думали евразийцы о европеизации как одном из источников ее катастрофы. Это был национально-романтический дискурс, искавший утраченную целостность бытия народа и культуры, в котором переплелись идеи Гердера и Гегеля (веривших в историческое развертывание народного духа), и категорически противостоявший западническому дискурсу общности институтов и элементов российской и европейской истории (впрочем, тоже не свободного от гегелевского влияния).

Однако вряд ли можно говорить, что евразийцы лишь повторили этот романтический троп поиска духовной целостности русского народа. Новое поколение, к которому принадлежали евразийцы, выросло не в 1820-х годах, в период наивно-романтических исканий «русской правды» на французском языке, но в первые годы XX века — предпоследнее десятилетие Российской империи. Между славянофилами и евразийцами — историки Н.И. Костомаров и А.П. Щапов, пытавшиеся найти альтернативу сфокусированному на Москве историческому нарративу, российские этнографы и лингвисты — учителя Трубецкого, рост национальных движений в Российской империи и осознание российской интеллигенцией неоднородности состава ее населения, политика русификации и очевидная несостоятельность правого русского национализма, зависимость от монархии и охранительных институтов.

³ В Москве тогда думали, что царь расстрелян на каком-то уральском полустанке. — *Примеч. М. Цветаевой.*

Как мы уже говорили, большинство евразийцев лично наблюдало распад империи по национальным и этническим, а также по социальным линиям в годы Гражданской войны¹². Если славянофилы пытались спасти «русскую» Россию, разделенную на крестьян и дворян, от революционных потрясений стареющего Запада, то евразийцам пришлось создавать образ единого культурного пространства многонационального государства, создавать мысленный образ, в котором единое – империя – уживалось бы со множественным – с ее народами – в синтетическом и устойчивом конструкте. В этом процессе усложнения и модернизации романтического дискурса, вооруженного теперь научными схемами и профессиональным языком, утратилась и угнездившаяся в славянофильстве аристократическая свобода, воплощавшая оппозицию «бюрократическому кошмару» николаевского режима. Кроме того, за пределы националистического дискурса «выплеснулся» и дискурс интегралистский, характерный для европейских фашизмов межвоенной эпохи: в евразийстве звучит более чем современная критика колониализма, в то время как в научную сферу – географию и лингвистику – евразийцы привнесли структуралистский метод.

С осмыслением высвеченной революцией исторической проблемы – целостности Российской империи как многонационального государства – у евразийцев было связано две основные темы. Первая, проводником которой был Трубецкой, – радикальная критика универсалистской европейской культуры и связанной с ней идеи прогресса, провозглашение возможности существования отдельных самобытных цивилизаций. Вторая тема – это объявление России одной из таких цивилизаций, особым географическим, этнографическим и культурным миром, миром Евразии, отличным от Европы и от Азии, в котором живут не русские, татары, калмыки и т. д., но евразийцы, своеобразный культурный тип, где славянские, тюркские и финские элементы смешиваются в результате исторического взаимодействия. Этот особый мир Евразии в результате войны и революции утратил свое положение великой европейской державы и пополнил ряды колониальных, неевропейских народов, которые должны заявить о себе в полный голос в новую эру, начавшуюся после Первой мировой войны. Евразия должна сыграть ведущую роль в борьбе колониальных народов против европейского господства.

Оба этих смысловых комплекса, тесно связанных с исторической проблемой многонационального государства в век государств национальных, недвусмысленно указывают на трансформацию славянофильского (или, более широко, – романтического) дискурса XIX века. Во многом две эти темы затрагивали проблемы, которые будут активно обсуждаться в 1960-х годах в связи с процессом деколонизации и распадом европейских колониальных империй. Оба эти тематических комплекса интересны не только как узкоисторический феномен, принадлежащий истории российской эмиграции после революции, но и как способ контекстуализировать некоторые фундаментальные положения критики европейской культуры в эру деколонизации через исследование условий возникновения первых антиколониальных идеологий.

В первом смысловом комплексе евразийство провозглашало, вполне в духе Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера, существование взаимонепроницаемых культурных блоков, одним из которых была Россия-Евразия. Унаследовав от Леонтьева страх перед исчезновением различия между культурами и социальными группами, евразийцы настаивали на невозможности и опасности как прогресса, так и общечеловеческой истории. Европа в этой конструкции выступала в качестве источника разрушающей различия, уравнивающей и обезличивающей силы современности. Именно поэтому антиевропейский комплекс приобретает такое большое значение в евразийстве. Однако антиевропейство евразийцев вовсе не ограничивалось теорией культурно-исторических типов и реакцией на возникновение новых социальных и культурных форм. Ненавидя Европу как образ современности, евразийцы открыли одно из самых могущественных дискурсивных орудий XX века: критикуя Европу, евразийцы

указывали на то, что европейское понимание прогресса и универсальной культуры стало идеологическим оружием колониализма, оправдывавшим мировое господство белой расы. Соответственно, борьба против Европы приобретала не только реакционное измерение охранительства, но и новаторский пафос освобождения. Таким образом, в евразийстве парадоксальным образом переплелись реакция и революция, стремление отгородиться от европейской современности и готовность использовать еще более радикальные социальные и политические силы в своей борьбе с ней.

Второй смысловой комплекс «имперского» евразийства – в таком конструировании Евразии, в котором снимается противоречие между национальными устремлениями народов бывшей Российской империи и единством культурного и этнографического пространства России¹³. В этом поиске целостности Российской империи евразийцы не только готовы были расстаться с европейским периодом российской истории, но и отрицали само понятие национализма, которое было столь дорого старшему поколению религиозных философов, в особенности П.Б. Струве. Характерна в этом отношении записка П.С. Арапова о национализме, которая обсуждалась участниками евразийского движения в 1925 году. Арапов писал:

Национализм, национальные движения бессмысленны в России – ибо Россия строилась не на национальном принципе, и даже более того, этот принцип ослабил бы Россию и остановил бы ее развитие. Один из признаков разложения Европы есть обостренное развитие национальных движений (в понимании этого наш предшественник – Леонтьев). Интернационализм – не есть исход из создавшегося тупика, ибо он лежит в той же плоскости, что и национализм – и есть его простое отрицание, логическая стадия развития. Выход... в отвержении и национализма и интернационализма, в выдвижении нового принципа... Россия не есть национальное целое, но нечто большее... национализм губелен для России, i) По внутренним причинам, ибо «русский национализм» будет всегда лишь «великорусским» и должен будет привести к распаду России-Евразии, т. к. вызовет развитие местных узких национализмов – украинского, белорусского, грузинского и т. п. ъ) По внешним причинам, ибо «национализм» закрывает России всякую возможность экспансии...¹⁴

Евразийцы осознанно стремились к такому конструированию имперского пространства, в котором вызов современных национализмов был бы минимален. Сам принцип национального государства был объявлен специфически европейским, романо-германским феноменом еще Н.С. Трубецким в 1920 году¹⁵. В марте 1921 года, отвечая на критику Якобсона, Трубецкой изложил свои взгляды на национализм:

Национализм хорош, когда он вытекает из самобытной культуры и направлен к этой культуре. Он ложен, когда он не вытекает из такой культуры и направлен к тому, чтобы маленький по существу неевропейский (неромано-германский) народ разыгрывал из себя великую державу, в которой «все как у господ». Он ложен и тогда, когда мешает другим народам быть самими собой и хочет принудить их принять чуждую для них культуру. «Национальное самоопределение», как его понимают бывший президент Вильсон и разные самостийники вроде грузин, эстонцев, латышей и проч., есть типичный пример национализма первого рода. Немецкий шовинизм или англо-американское культуртрегерство – вид ложного национализма второго рода. Наш русский «национализм» дореволюционного периода есть и то и другое. Истинный национализм предстоит создать¹⁶.

Оставляя привычные для романтиков XIX века представления о родственных и органических связях народов, евразийцы предложили свое видение российской идентичности, в котором генетическая модель родства была заменена системной моделью конвергенции, выразившейся в приобретении народами общих признаков в результате длительного опыта исторического общения¹⁷. Объявляя западных славян европейцами (точнее, принадлежащими переходной зоне между Европой и Евразией), евразийцы считали, что российский культурный тип был сформирован многовековым общением славян с «туранским» Востоком, с монгольскими, тюркскими и финно-угорскими народами. Эта тема, впервые поднятая Савицким в его небольшом трактате, излагавшем географические и этнографические основы евразийства, впоследствии разрабатывалась Трубецким и Якобсоном, исследовавшими лингвистические и этнопсихологические аспекты евразийского единства¹⁸. Одним из результатов такого подхода стала концепция языкового союза, авторами которой были «пражские» лингвисты. Сам Савицкий основное внимание уделил географии и «природным» аспектам единства Евразии, разрабатывая в новом ключе популярные в начале XX века концепции «тотальных географических регионов»¹⁹.

Сочетаясь с унаследованной от славянофилов идеализацией допетровского периода русской истории и отрицанием усредняющей буржуазности, символом которой была для евразийцев Европа, евразийское стремление к конструированию целостности этнографического и географического пространства породило и достаточно оригинальный исторический дискурс. Московское царство – не просто истинно русский период российской истории, оно еще и наследник степных азиатских империй, защищающий русско-туранский мир от вредоносных контактов с агрессивной Европой. Именно московское царство воплотило в себе для евразийцев их концепцию романтической целостности с восточным оттенком, искусственно сконструированный образ толерантной к разным религиям автаркии, перенесенный из Европы 1920-х годов в XV век²⁰. Надо сказать, что именно исторические воззрения евразийцев вызвали наиболее острую негативную реакцию как в эмиграции, так и среди современных историков.

Однако революция была для евразийцев не только распадом и катастрофой. Глубокая убежденность эмигрантов в том, что режим большевиков не продержится сколько-нибудь долго по меркам исторического времени, что возвращение в Россию – дело не очень отдаленного будущего, была свойственна и им. Как и у других изгнанников, эта убежденность основывалась на психологически понятной и широко распространенной в эмиграции вере в то, что под тонким слоем большевистского режима в России идет некая активная жизнь, которая приведет к изменениям и позволит эмигрантам вернуться на родину. Если либералы и демократы верили, что эта жизнь рано или поздно уничтожит большевистский режим, для евразийцев это не было очевидным. Для того чтобы реализовать евразийскую программу, следовало изменить идеологию большевистских правителей, не затрагивая при этом основ нового строя.

Отгородившись от всего, что было связано с непосредственным прошлым России, евразийцы объявили себя и свою идеологию радикально новым словом в осмыслении судьбы страны. Согласно этому новому слову, революция не только разрушила старый мир имперской России – она еще и разрешила славянофильскую дилемму XIX века, освободив творческие силы «автохтонного» населения России. На смену старому миру скованной европейскими заимствованиями России пришел новый мир, и евразийцы считали, что они «творят культуру» для этого нового мира. Он характеризовался прежде всего новой политикой, названной Трубецким «идеократией», и новой эстетикой формы, которую проповедовал Сувчинский. В этом сочетании фашистского государственного устройства с новыми веяниями в искусстве звучали мотивы поиска моральной регенерации, распространенные в

межвоенной Европе. Эти мотивы не были чужды и самому большевистскому режиму, который, несмотря на определенную эстетическую консервативность большинства своих лидеров, пропагандировал разрушение старого мира и построение новой культуры.

Новый мир должен был противопоставить старому, европейскому миру абсолютную целостность – органичность государства, аутентичный религиозный опыт, синтетическую науку. Поиск тотальной целостности проходит через евразийскую политику и эстетику так же, как он проходит через евразийскую этнографию, лингвистику или географию. Образ идеократического государства, управляемого могущественной идеей и администрируемого непротестуально «отобранным» слоем, выглядит сегодня проектом осуществившихся тоталитарных режимов XX века. Можно дискутировать о том, в какой степени евразийцы принимали или отвергали специфически большевистские черты Советской России, но не вызывает никаких сомнений, что именно «идеократические» элементы большевистского режима – господство одной идеологии и «волевая» власть – были для них особенно привлекательны²¹. Так, П.Н. Савицкий, определяя по просьбе резидента «Треста» в Варшаве Ю.А. Артамонова свое отношение к фашизму, писал:

Вот мои соображения о фашизме.

1. Фашизм является ответом на большевизм и основан на большевистском примере. Но равен ли тезис антитезису? Приходится признать, что нет.

2. Всякое историческое «деяние» имеет плоть. Плоть современного мира – территориальная, основанная на конфликте континента и океанических форм (колониальные державы). Большевики контролируют континент, тогда как у Италии нет шансов вести европейский мир в его совокупности континентально или охватить океанически, Италия провинциальна. Сейчас эпоха каменноугольная и железная, и тут у Италии тоже нет шансов. «Италия не имеет великодержавной базы, а следовательно и фашизм не может явиться ответом соразмерным тезису большевизма». Большевизм есть идеология «конечная», отрицая религиозные начала абсолютно, он их учитывает. У фашизма есть шанс, если *pazia* сможет объединить религиозные и национальные начала. У фашистов плохое положение – за еретичество католиков они наказаны тем, что в католичестве вселенские и национальные начала враждебны, в отличие от православия²².

В свою очередь П.С. Арапов считал гитлеровскую партию и идеологию достойными для подражания примерами²³. Отметим, что критика Савицким фашизма заключается прежде всего в оценке шансов фашистского режима в мировой борьбе, его внутреннего потенциала и геополитических недостатков. Сама организация фашистского государства в Италии не вызывает у Савицкого серьезных возражений, вполне согласовываясь с евразийской концепцией третьего пути между большевизмом и буржуазной демократией, а также с идеалом идеократической формы правления, предполагавшей господство одной доминирующей идеологии. Фашистское государство неоднократно привлекало внимание евразийцев, и в расчете на пропаганду идей евразийства в Италии Сувчинский вступил в переписку с Джузеппе Унгаретти.

Пореволюционное осмысление «разрывов» российского общества, как мы уже отмечали, было своего рода кульминацией романтического националистического дискурса. В эмиграции «национальный вопрос» – вопрос о том, почему национализм проиграл большевизму, – вызывал особое, болезненное внимание, предпринимались попытки организовать эмигрантское сообщество на надпартийной, национальной основе с целью представить альтернативу большевизму. В Европе в целом послевоенная реакция прибегала к новым прие-

мам, при помощи которых описывалась и пропагандировалась необходимая гомогенизация общества и выстраивались иерархии врагов национального единства. Так, в Германии консервативные революционеры модифицировали традиционный *völkisch*-дискурс с его интересом к крестьянскому образу жизни и противопоставлением романтической *Kultur* и современной буржуазной *Zivilisation*. В этот буколический и пасторальный образ национального были введены техника и технология, ставшие наряду с фронтовым братством основой ультраправых движений, пропагандировавших новые формы политики. Однако брутализация широких масс в годы войны сделала возможным и массовое же насилие, оправдывавшееся необходимостью достичь чистоты нации²⁴.

Евразийство не было чуждо этой форме модернизации романтического понимания нации, соединив в себе славянофильские поиски единства, разрушаемого приходящей с Запада современностью, с ультрасовременной, авангардной и западной наукой. Несмотря на то что евразийство функционировало в замкнутой и социально неоднородной среде эмиграции, эта среда немедленно отреагировала на озвученные евразийцами идеи, предоставив в качестве человеческого материала для их движения молодых офицеров, прошедших войны и революцию. Развиваясь в эру «предательства интеллектуалов» и стремительного роста массовых фашистских идеологий в Европе, в эру возникновения и укрепления новых по форме вождистских государств, евразийство безусловно отразило в себе модернизацию романтизма, связанную с процессами национализации и принимавшую форму фашизма. Вполне объяснимой на этом фоне выглядит и двусмысленность позиции евразийцев по отношению к Советскому Союзу. Несмотря на отрицание марксизма и критику большевиков, евразийцы, вполне в согласии с логикой собственного языка, одобряли тоталитарную (на их языке – идеократическую) природу советской власти, указывая на ее «волевою природу». Советская Россия, наряду с Италией, была для евразийцев одним из прототипов «идеократического государства». Более того, в большевизме евразийцев привлекала и его способность восстановить территориальную целостность Российской империи (пусть и в урезанном виде), и его подчеркнутое уважение к народам Востока. К появившемуся в эмиграции движению сменовеховцев, или национал-большевиков, евразийцы относились по-разному: если Савицкий и Сувчинский склонны были подчеркивать общее между собой и сторонниками Устрялова, то Трубецкой однозначно не принимал никаких сравнений со сменовеховцами, обвиняя их в отсутствии каких-либо идей, кроме раболепия перед властью²⁵.

Одним из способов преодоления революционного дробления и распада евразийцы считали новое искусство²⁶. Бесспорным авторитетом в этой области был П.П. Сувчинский, который, казалось, находился в центре невидимой сети, связывавшей представителей самых различных областей искусства и литературы. Сувчинский, несмотря на свою православную религиозность, был склонен к экспериментаторству в творчестве и обладал настоящей способностью распознавать и располагать к себе таланты. Эстетический дискурс евразийцев демонстрирует преемственность с российским миром литературы и искусства предреволюционной поры, в котором, как уже отмечали исследователи в работах о возникновении евразийства, также были сильны ориентальные мотивы²⁷. В 1920-х годах сложный и многоплановый процесс взаимодействия политизированного модернизма в искусстве и новых политических режимов можно было наблюдать в самых разных национальных контекстах. Так, в Италии режим Муссолини активно использовал творчество модернистов для своих целей, а в Советском Союзе авангардное искусство стало одним из элементов пропаганды нового мира²⁸.

Модернизм, связанный с поиском духовного и морального обновления, часто обращался к целостности и аутентичности национального или религиозного опыта и содержал имплицитную критику буржуазной современности. Любимый Сувчинским А. Реми-

зов, например, вдохновлялся собственными образами допетровской Руси, что не могло не импонировать евразийскому эстету. Подобное сочетание современных эстетических форм с романтическим поиском целостности и стало причиной появления определения, которое дал евразийцам Ф.А. Степун, – «славянофилы эпохи футуризма». В этом смысле «футуризм» Сувчинского ограничивался в 1920-х годах поиском таких эстетических формул, которые позволили бы соединить формалистический эксперимент с тотальным видением. Это искусство Сувчинский называл «религиозным» и предполагал, что наблюдаемое им слияние формы и содержания, упадок дескриптивного сюжетного искусства способны породить новый религиозный опыт²⁹.

Русская революция стала связующим звеном в интерпретациях евразийства, поскольку понималась как высшая точка современности. Воспринимаемая то как осуществление исторической справедливости, способствующей «выпадению России из европейского мира», то как катарсический опыт, открывающий возможности нового искусства, революция стала прежде всего симптомом прерывности, распада общества, нации и культуры. «Преодоление» революции, провозглашенное евразийцами, состояло в построении целостности и непрерывности на разных уровнях – в истории, этнографии, географии или искусстве. У евразийства было несколько источников этой концепции целостности. Во-первых, это национализм XIX века с его стремлением к гомогенизации воображаемого национального сообщества и преодолению «разрывов» в национальном теле. Во-вторых, это распространившийся в Европе после Первой мировой войны модернизированный общеевропейский дискурс национального единства, в котором были сильны романтические мотивы и который часто был связан с модернизмом в литературе и искусстве. Именно этот модернизированный романтический национализм стал источником фашизма и нацизма в разных формах.

Однако евразийское построение если и было родственно неоромантическому дискурсу межвоенной Европы, то выходило за рамки проблематики национализма в модернизирующемся обществе хотя бы в силу того, что отражало общество континентальной империи, с ее множеством народов, языков и культур. Фашистские движения в Европе периода *interbellum* были тесно связаны с концепцией национального государства, в течение XIX века ставшей господствующим способом видения социального мира. Даже в империи Габсбургов процессы нацистроительства ушли гораздо дальше Российской империи, и «Дунайская монархия» распалась в 1918 году, подобно Советскому Союзу, по границам институционализированных образований – прежде всего Богемского и Венгерского королевств, которые возглавляли в империи национальную борьбу. Россия осталась единственной континентальной империей в Европе, поставив под сомнение саму возможность русского национализма в европейской форме – слишком велика была диверсификация народов и культур, вновь собранных большевиками в единое государство. Евразийская доктрина отражала этот парадокс российской истории, предложив в контексте национального и романтического модернизированного дискурса меж-военной Европы свое видение целостности многонационального, многоязыкового и многоконфессионального пространства.

5

Границы империи и границы модерна. Антиколониальная риторика и теория культурных типов

Критика колониализма и спасение империи

Одним из элементов евразийской доктрины – наиболее оригинальным на фоне европейских параллелей евразийства – является критика колониализма и объявление России колониальной державой, лидером неевропейских народов, вступивших после Первой мировой войны на историческую сцену¹. В российской традиции евразийцы были первыми, кто не просто однозначно считал азиатскую составляющую российской культуры и государственности неотъемлемым элементом истории России, но и полностью ассоциировал себя с миром неевропейских, колониальных народов². Каким же образом и почему произошел такой своеобразный интеллектуальный переворот, позволивший представителям российской культурной элиты в изгнании ассоциировать себя с колониальным миром?

Очевидно, что революция и мировая и Гражданская войны, разрушив имперскую Россию, трансформировали «восточничество» представителей российской культуры в своего рода колониальный комплекс. Известное стихотворение Блока, на которое Трубецкой ссылается в письме Якобсону, перечисляя витающие в воздухе идеи, родственные евразийству, и литературное движение «скифов», вдохновленное блоковскими пророчествами, – это лишь самые известные факты в этом ряду³. Мысли о том, что Россия в результате революции и Гражданской войны станет страной колониальной, видимо, имели определенное распространение уже во время Гражданской войны. Так, Савицкий вспоминал, как при встрече с Борисом Савинковым в 1918 году обсуждался вопрос о том, вернется ли Россия на мировую арену. По словам Савицкого, Савинков холодно заметил, что Россия и после катаклизма будет участвовать в международной жизни, ведь участвуют в ней Абиссиния или Индия...⁴ Любопытно, что Савинков и в своем призыве к признанию советской власти, написанном в московской тюрьме в 1924 году, утверждал, что Россия видится иностранцам как колония, а эмигрантов причислял к колониальным «невольникам»⁵. Трубецкой считал, что в результате разрухи, принесенной войной и революцией, восстановление хозяйства в России возможно только в том случае, если в нее придет европейский капитал, способный превратить Россию в колониальный придаток Европы, причем вне зависимости от того, какой строй будет в самой России⁶. Пафосом идентификации с колониальным миром проникнуто и любопытное предисловие Трубецкого к опубликованной в 1920 году Русско-Болгарским книгоиздательством книге Герберта Уэллса «Россия во мгле». Здесь Трубецкой связывает пробольшевистскую позицию писателя с надменностью европейского колонизатора, не вникающего в подробности культурной жизни народов, задачей которых является лишь поставка сырья и рабочей силы для Европы⁷. Добавим, что для представителей предреволюционной элиты России одним из индикаторов потери прежнего статуса была невозможность участвовать в решении ее судьбы на международной арене: эмигрантские организации всеми силами пытались воздействовать на правительства западных стран с тем, чтобы те хоть как-то учитывали эмигрантскую точку зрения⁸. Таким образом, эмиграция со свойственной ей неуверенностью в собственном статусе способствовала тому, чтобы часть рос-

сийских интеллектуалов, оказавшихся в изгнании, идентифицировала себя с объектом европейского колониализма.

Безусловно, этот переворот был генеалогически связан с целым комплексом идей. Существующие интерпретации евразийства указывают, в частности, на своеобразный «восточнический» комплекс в российской культуре конца XIX – начала XX века, вызвавший «необыкновенно раннюю критику» евразийцами европейского колониализма. Стоит все же отметить, что в конце XIX века интерес российского искусства и литературы к Востоку был частью общеевропейского ориенталистского феномена. Российские интеллектуалы интересовались Востоком, он увлекал и тревожил их воображение, но при этом они проводили четкую границу между «европейской» Россией и ее «азиатскими» владениями. Некоторые исследователи указывали на то, что евразийцы транслировали в своеобразном пореволюционном контексте новые веяния в мировой политике, выразившиеся в доктрине самоопределения национальностей Вудро Вильсона и радикальном антиколониальном дискурсе большевиков⁹. Европейские исследователи отмечали и связь между критикой евразийцами европейского колониализма и их неприятием буржуазной модерности, источником которой они считали Европу¹⁰. Особо отмечалось стремление евразийцев спасти имперское пространство России путем инкорпорации в евразийское сообщество большинства народов империи как субъектов общеевразийского национализма, что отражает и более широкое осмысление исторической траектории Российской империи эмигрантами¹¹.

Однако особенно важна была полемика евразийцев с мыслителями и публицистами 1910-х годов, в частности, с теми, кто группировался вокруг сборников «Проблемы идеализма», «Вехи», «Из глубины» и журнала «Путь». Именно эти мыслители пытались создать философское обоснование русского национализма, основанное на сочетании секуляризированной православной философии и либеральных идей, причем такой национализм мыслился прежде всего как вопрос культурный, этический и т. д., но не политический. В евразийстве же была очень сильна поколенческая риторика, которая проводила четкую грань между поколением 1890-х и старшей генерацией «либеральных» профессоров или участников религиозно-философских объединений первой декады XX века¹². В этой поколенческой риторике отразилась, как уже говорилось, реакция на «нормализацию» Российской империи после 1905 года и кризис европейской модерности. Евразийцы смогли объединить два в принципе различных пути критики европейской модерности: отрицание Европы как чуждой и стандартизирующей цивилизации и попытки свести на нет связанные с модерным русским национализмом иерархии народов империи, отражавшиеся в ориенталистском дискурсе.

Отправной точкой для развития евразийства послужило обсуждение идей, изложенных одним из основателей евразийского движения, известным лингвистом Николаем Сергеевичем Трубецким, в опубликованной в 1920 году книге «Европа и человечество»¹³. Немаловажно, что, по словам самого Трубецкого, он задумал эту книгу еще в 1909–1910 годах¹⁴. По свидетельству современников, работа эта произвела впечатление не только на эмигрантов, но и на читателей в Советской России, где незадолго до высылки из страны группа профессоров издала сборник статей о Шпенглере¹⁵. В своей небольшой книжке Трубецкой объявил, что европейская цивилизация является порождением лишь одной группы народов – «романо-германской»; что ее претензии на универсальность суть следствие обычного эгоцентризма европейцев; что культура австралийского дикаря ничем не хуже и не лучше культуры современного европейца; что Первая мировая война в полной мере продемонстрировала «цивилизованность» европейских народов. Культура не может быть общей для всех народов, а заимствования культурных институтов или практик, хотя и возможны, должны быть органичны и не изменять культурной жизни тех, кто заимствует. В письме Р. Якобсону,

воспринявшему эту книгу прежде всего как реакцию на революцию и войну, Трубецкой объяснял свою позицию так:

Вы пишете, что не верите в «мир как резервуар мирно сожительства культур». Я в это, конечно, тоже не верю. Если когда-нибудь мои заветные мечты осуществляются, то я представляю себе, что в мире будет несколько больших культур с «диалектическими», так сказать, вариантами. Но отличие от европейского идеала состоит в том, что, во-первых, этих больших культур все-таки будет несколько, а не одна, а во-вторых, их диалектические варианты будут более яркими и свободными¹⁶.

В книге Трубецкого были сформулированы два принципа, которые легли в основание евразийского дискурса. Во-первых, Трубецкой утверждал, что в мире существуют отдельные, взаимонепроницаемые культурные области, причем попытки преодолеть границы между культурами и импортировать или экспортировать институты и практики из одной культуры в другую опасны. Как утверждал Трубецкой в своей статье «Вавилонская башня и смешение языков», такие попытки ведут к общечеловеческой, интернациональной культуре, которая в силу ее универсальности будет примитивной¹⁷. Во-вторых, Трубецкой заявлял, что в мире существует одна культура, которая претендует на универсальность, – культура европейская, агрессивно проповедующая эту свою универсальность, чтобы обеспечить себе господствующее положение в мире.

Ни антиевропеизм, ни цивилизационная теория культурных типов не были новшеством для русских мыслителей. Радикально новым и оригинальным в подходе Трубецкого было то, что он связал идею всемирного прогресса и универсальности европейской культуры как мерила отсталости с практикой колониального господства европейских народов. Европа, по мнению Трубецкого, – не просто отдельная цивилизация, сформировавшаяся в особых условиях романо-германского мира, это агрессивная и опасная цивилизация, стремящаяся к покорению и эксплуатации всего мира и оправдывающая свою агрессивность теориями универсальной шкалы развития, в которой она занимает ведущее место. Освободиться же от колониального господства Европы можно лишь тогда, когда интеллигенция колониальных народов осознает ложность идеологии европейского превосходства¹⁸. Связав культуру и колониальное господство, Трубецкой предвосхитил возникшие в 1960-х и 1970-х представления постструктуралистов об идеях прогресса и общечеловеческой культуры как о реализации механизмов власти и господства белых европейцев над колониальным миром. Прежде всего, речь идет о работах историка литературы Эдварда Саида¹⁹. По мнению Саида, «ориентализм, включавший в себя науку, литературу, прессу и т. д., идеологически обеспечивал власть европейцев над колониальным миром, создавая в то же время негативные предпосылки для конструирования идентичности „современного“ и „западного“». Саид назвал «ориентализмом» комплекс дискурсов, научных, литературных и политических, при помощи которых европейцы эры «высокого империализма» конструировали образ Востока. При этом Востоку приписывались такие характеристики, как мистицизм (Запад выступал как сфера рациональности), непосредственность (Запад являлся образчиком культуры и цивилизованности), традиционность (Запад, таким образом, был фокусом современности и динамичного развития) и т. д. По мнению Саида, конструируя таким способом образ Востока как Иного, Запад не только обеспечивал поддержку колониального господства при помощи культурных механизмов, но и подчеркивал и укреплял собственную идентичность. Заметим, что в последнее десятилетие подход Саида применяется и в анализе конструирования западноевропейцами ментальных образов Восточной Европы (и некоторых ее регионов)²⁰.

Подобно Саиду, Трубецкой не просто критиковал европейскую цивилизацию за ее колониальные завоевания. Он видел в европейской эволюционистской науке с ее стадийными принципами средство идеологического контроля:

Момент оценки должен быть раз навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие. Объявлять похожих на нас высшими, а непохожих – низшими, – произвольно, ненаучно, наивно, наконец, просто глупо. Только вполне преодолев этот глубоко вкоренившийся эгоцентрический предрассудок и изгнав его последствия из самих методов и выводов, до сих пор строившихся на нем, европейские эволюционные науки, в частности этнология, антропология и история культуры, станут настоящими научными дисциплинами. До тех пор они являются в лучшем случае средством морочить людей и оправдывать перед глазами романо-германцев и их приспешников империалистическую колониальную политику и вандалистическое культуртрегерство «великих держав» – Европы и Америки²¹.

Можно с большой долей уверенности предположить, что эта критика эволюционистской модели в этнологии была связана у Трубецкого с его интересом к народам Российской империи (в рецензии на книгу Трубецкого Савицкий утверждал, что все приведенные в ней примеры прежде всего относятся к России). Необходимо, вероятно, отдельное исследование для того, чтобы установить, в какой мере комбинация народничества и марксизма, исповедовавшаяся многими этнографами позднеимперской России, могла быть источником такой критики ориентализма²². Трубецкой, автор многочисленных статей о кавказских и финно-угорских языках и фольклоре и большой неопубликованной записки о кавказских народах, очевидно стремился к преодолению ориенталистской дистанции между русским и другими народами России, поскольку такая дистанция, возникшая из современных практик, подрывала единство империи.

Порожденная современным русским национализмом, история развития этого современного дистанцирования от «Востока» стала предметом изучения совсем недавно, несмотря на то что историки и литературоведы уже давно отмечали неоднозначное отношение российских интеллектуалов к Востоку. Хорошо известно, что «желтая угроза» была одним из важнейших лейтмотивов творчества Владимира Соловьева, а Достоевский утверждал, что именно на Востоке лежит историческое призвание России («в Азию мы придем как господа...»)²³. «Восточничество» как комплекс представлений об особой миссии России на Востоке сыграло определенную роль не только в управлении «внутренним Востоком» Российской империи, но и в развязывании Русско-японской войны 1904–1905 годов²⁴. В связи с вторжением постколониальных исследований в историю русской литературы появились новые работы о взглядах русских на Кавказ и Среднюю Азию в XIX веке²⁵.

В последние годы историки также стали активно обсуждать особенности восприятия Востока российскими учеными и бюрократами, применяя теоретические рамки концепции ориентализма Эдварда Саида²⁶ к опыту Российской империи. Несмотря на то что Саид упоминал Россию в ряду тех западных стран, которые участвовали в ориенталистском проекте, взгляды специалистов-историков на ориентализм в России разделились. По мнению одних (Адиб Халид), ориентализм в России мало чем отличался от ориентализма в других европейских странах, тогда как Натаниэль Найт, исследуя деятельность В.В. Григорьева в Оренбурге, отмечал, что в России, где границы между Азией и Европой размыты, восприятие

азиатских народов русскими интеллектуалами вовсе не было однозначным²⁷. Преодолевая ограниченность дискуссии, не учитывающей специфические отношения между нормативной модерностью и российским историческим опытом, многие исследователи обращали внимание и на тот факт, что Россия была как объектом, так и субъектом ориентализма, причем вестернизированная элита Российской империи воспринимала собственное крестьянство как «внутренний Восток», объект просветительской деятельности и управленческих стратегий²⁸. В контексте этих дискуссий особенное значение приобретает феномен евразийской идеологии, которая не просто солидаризировалась от имени «российского мира» с народами Азии и Африки, но и обрушилась с критикой на колониализм Европы. Для Трубецкого и его соратников по евразийству в России существовал не только «внутренний Ориент», который следовало включить в общеимперское пространство, но и «внутренний Запад» – вестернизированная интеллигенция, которой следовало произвести «революцию в своем сознании» и отказаться от ложной западной идеологии.

Несмотря на схожесть эпистемологических посылок (приверженность релятивизму и отрицание универсалий), между взглядами Саида и подходом евразийцев существует определенная разница²⁹. Если для Саида в частности и для постструктуралистов вообще критика колониализма являлась способом делегитимации колониальных империй (характерно, что такая критика появилась в период их распада)³⁰, то для евразийцев она была, прежде всего, методом конструирования имперского пространства. Исследователи уже отмечали компенсаторную роль евразийской критики колониализма и стремления включить азиатские народы в единое евразийское пространство, спасти империю путем ее отрицания. Активность национальных движений в годы войны и революции и большевистский проект федерализации заставляли многих эмигрантов задумываться о том, каким образом возможно сохранение целостности бывшей Российской империи. Более того, некоторые евразийцы, такие как Савицкий, интересовались проблемами соотношения национализма и империи еще до революции, к чему склоняло как их происхождение (Савицкий, Сувчинский и Флоровский были родом с Украины), так и влияние (в частности, на Савицкого) П.Б. Струве с его проектами имперского национализма³¹. Критикуя ориентализм европейских народов, евразийцы провозглашали отсутствие такового в России, а следовательно, и особый характер российского имперского пространства, в котором различные национальные и этнические группы образуют одну общность.

Поэтому не вызывает удивления тот факт, что в своей рецензии на книгу Трубецкого Савицкий объявил, что «противоположение» Европы и России

питается и в идеологическом, и в милитарном отношении силами не одной этнографической России, но целого круга примыкающих к ней... народов. Силы этих народов частично способствовали созданию Российской мощи и культуры, они действуют и в явлении большевизма... между тем в явлении этом, несмотря на его отвратительное и дикое лицо, – несомненно заложены элементы протеста некоторого неромано-германского мира против романо-германского культурного и иного «ига»³².

Савицкий считал, что «близость [этих народов] России иллюстрирует факт отсутствия определенных естественных границ между Евразией и Азией...»³³.

Очевидно, Савицкий предполагал, что его могут обвинить в непоследовательности и проповеди российского империализма взамен колониализма европейского:

Не будет ли это вовлечение заменой романо-германского ига на российское (для азиатов)? Жизнь жестока; и на слабейших народах Евразии может тяготеть российское иго, однохарактерное игу романо-германскому.

Но в отношении народов, имеющих культурную потенцию, – важнейшим фактом, характеризующим национальные условия Евразии, – является факт иного конструирования отношений между российской нацией и другими нациями Евразии, чем то, которое имеет место в областях, вовлеченных в сферу европейской колониальной политики... Евразия есть область некоторого равноправия и некоторого братания наций – не имеющего никаких аналогий в междунациональных соотношениях колониальных империй. И евразийскую культуру можно представить себе в виде культуры, являющейся, в той или иной степени, общим созданием и общим достоянием народов Евразии³⁴.

Таким образом, отвергая колониализм Европы и провозглашая существование особых культурных миров, евразийцы позаботились и о том, чтобы сконструировать пространство бывшей Российской империи без противоречий между населяющими ее народами. Такая попытка сгладить возникающую между империей и модерными национализмами несовместимость, вполне возможно, была связана с общей критикой евразийцами предреволюционной эпохи как европейской и чуждой природе Евразии. Разумеется, сложно говорить о развитом колониальном дискурсе в России начала XX века, но в контексте европейской «нормализации» думского периода предпринимались попытки вычленить «национальное» ядро в Российской империи и четко определить статус владений на Кавказе и в Азии как колоний³⁵. Идеи евразийства полностью перечеркивали возможность выделения «этнографической России» из Российской империи и были призваны утвердить неделимость культурного, политического и экономического пространства всей империи. Однако подобное сохранение единства империи было возможно лишь путем отрицания такой формы националистического дискурса, которая предполагала деление империи на российскую нацию и ее азиатские колонии, и именно против этого деления и восставали евразийцы, объявляя европейскую науку (сформировавшуюся в контексте национального государства) орудием господства.

Генеалогия ареальной мысли: от универсализма к партикуляризму

Разумеется, Трубецкой не был одинок в своем представлении о существовании культурных ареалов, защите равенства культур и убежденности, что европейские заимствования вредны. Он наследовал значительной традиции, которая конструировала большие культурные сообщества, ареалы, зоны и цивилизации в течение столетий европейской истории. Идея культурно-исторической изолированности, существования цивилизаций, определяющих историческую и культурную судьбу входящих в них народов, появляется в Европе в контексте осознания своего отличия от мира ислама³⁶. Однако это различие концептуализируется не в культурных, а в конфессиональных терминах, присущих домодерным обществам. В Новое время европейцы, благодаря путешествиям и развитию картографии, начинают придавать культурным различиям все большее значение, конструируя цивилизационные особенности тех или иных регионов³⁷. Идея цивилизации как культурно замкнутого пространства получает мощный импульс, когда Просвещение дает европейцам осознание собственного прогресса, вступая, таким образом, в противоречие с заложенными в самом Просвещении принципами универсальности законов человеческих обществ³⁸. В романтическом дискурсе идея особой культуры выходит на первый план, подрывая универсализм рационального европейского гуманизма. Романтики, проповедовавшие, говоря словами Артура Лавджоя, принцип «диверсификационизма», ценили скорее различия между культурами,

нежели универсальные категории рационального разума³⁹. Они спорили о специфическом народном духе, об исторических народах, связывая зарождающийся немецкий национализм с историческим нарративом Европы, проходящим от Античности, через Средневековье, к Реформации и Возрождению. Поэтому пангерманизм был двусмысленным конструктом, объединившим идею *Deutschtum* с представлением о европейской цивилизации и немецкой нации одновременно. В дискурсе немецких романтиков ключевую роль играли темы родства, которые организовывали пространство согласно генетически установленным признакам. В романтических описаниях органическая метафорика, в которой народ, нация или государство выделялись прежде всего сквозь призму биологических аналогий, была центральной, а поскольку неизменяемость видов и невозможность скрещивания была аксиоматичной, эти взгляды зачастую переносились и на культуры. Славянофилы в России, следуя примеру немецких романтиков, говорили о национальной особенности славянского мира. Подобно пангерманизму, славянофильство было двусмысленной конструкцией, предполагавшей некое единство славянского мира (культурное прежде всего), которое в то же время подрывало географическую, культурную и языковую целостность Российской империи⁴⁰.

Одним из первых российских авторов, сформулировавших идею культурно-исторического типа и отдельной, изолированной цивилизации, состоящей из группы родственных народов, был Николай Яковлевич Данилевский. Профессиональный биолог и критик Дарвина, Данилевский предполагал существование славянского мира, в котором России предназначалась роль лидера и объединяющей силы⁴¹. Подобный взгляд разделял и В.И. Ламанский – один из вдохновителей евразийца Савицкого, заимствовавшего у него идею особого географического мира России⁴². Однако у Ламанского, как и у Данилевского, особость России была неоднозначной, и их основной пафос состоял, прежде всего, в выделении сообщества славянских народов по генетическому признаку, что подрывало дискурсивное единство пространства самой России. Да и различие между Европой и Россией как у одного ученого, так и у другого не носило четко выраженного характера⁴³.

Романтическое утверждение существования особых национальных культур и распространение расовых идей о множественности источников происхождения человечества поставили вопрос о том, каким образом распространяются культурные признаки. Начиная со второй половины XIX века в Германии развивается ареальная этнология, стремившаяся объяснить наличие одинаковых признаков у разделенных расстоянием культур. Благодаря случаю Трубецкой поселился в Вене, где с 1904 года преподавал Вильгельм Шмидт, ставший одним из самых активных защитников теории *Kulturkreisen* (культурных кругов, или ареалов) и проповедовавший включение *Naturvölker* (неисторических народов, не обладавших государственностью и письменностью) в историю⁴⁴. Источником этой теории, в частности, служили работы географа Фридриха Ратцеля, который ввел в научный оборот концепцию этнологических территорий (*ethnografische Länder*), на которых во взаимодействии с природным ландшафтом формируются определенные культуры⁴⁵. Идеи Ратцеля в ареальной этнологии развивали Бернанд Анкерман и Фритц Гребнер⁴⁶. Еще один теоретик ареальной этнологии, Лео Фробениус, присоединился к сторонникам теории морфологии культур (*Kulturmorphologie*), опубликовав в 1921 году небольшую книжку в духе Шпенглера, с которым он состоял в переписке и на которого, возможно, оказал влияние⁴⁷. В 1920-х годах этногеография стала одним из источников геополитической мысли в Германии и сыграла определенную роль в подготовке того культурного и интеллектуального климата, в котором стал возможен нацизм⁴⁸.

Разумеется, нельзя поставить знак равенства между теориями культурных ареалов, морфологией культуры и даже геополитикой, с одной стороны, и нацистским режимом –

с другой. Однако любопытен тот круг, который прошла идея замкнутого культурного пространства начиная с середины XIX века – от защиты универсальности человеческой культуры и единства человечества до конструирования консервативных автаркических культур, между которыми существуют непреодолимые барьеры. Заметим, что в истории германской этнологии источником теории ареальных кругов стали романтические работы Гумбольдта. Теоретики ареальной этнологии, хотя и были уверены в превосходстве европейской или германской расы, критически относились к эволюционным теориям Дарвина, способствовавшим распространению расизма в Европе. Находясь в некотором противоречии с концепцией ориентализма Эдварда Саида, германская этнология в течение XIX века находилась под воздействием гуманистического наследия романтизма и далеко не всегда однозначно конструировала образ Другого. Так, в известной антропологической полемике между моногенистами, отстаивавшими единое происхождение человечества, и полигенистами, утверждавшими множественность источников происхождения, и следовавшее из этого неравенство рас влиятельнейший немецкий этнолог Теодор Вайц однозначно поддерживал первых. Наличие культурных различий между народами Вайц объяснял при помощи географического фактора, дав импульс исследованиям диффузии культурных характеристик на обширных территориях и стимулировав развитие ареальной этнологии, которая, в свою очередь, создавала предпосылки для культурной морфологии⁴⁹. Это колебание германской этнологической традиции между универсалистскими принципами Просвещения, верой в существование неких общих для человечества законов развития и развитием романтических идей культурной морфологии не позволяет однозначно провести границу между Просвещением и романтизмом и иллюстрируют глубину взаимопроникновения двух гранд-нарративов Европы современного периода.

Однако и в англо-американской антропологической традиции положение вовсе не было однозначным. Постструктуралистская критика колониальной этнографии обрушилась на работы Бронислава Малиновского, английского исследователя Африки, сделав из него образец этнографа-империалиста, способствовавшего трансформации репрессивного колониального режима в режим «непрямого правления» (Indirect rule). Традиционно, постструктуралистская критика видела в таких проектах образования туземного населения и контроля над ними работу репрессивных механизмов рационалистического Просвещения, в которое вплетены инструменты европейской власти над миром. Тем не менее Малиновский высказывал детально обоснованные взгляды на колониальную практику и поддерживал, по мере возможности, туземные институты, считая, подобно Трубецкому, что европейские заимствования не способствуют развитию природных способностей африканцев. Так, защищая идеи короля Свазиленда о введении туземных практик в образование, Малиновский утверждал, что «это позволит привести их [африканцев] в мировую цивилизацию именно как истинных африканцев»⁵⁰. В то же время Малиновский критически относился к позиции урбанизированных и вестернизированных африканцев, считая, что их идентичность не позволяет им отражать взгляды народа, что напоминает идеи Трубецкого о европеизированной интеллигенции. Любопытно, что взгляды Малиновского на культурное сообщество даже связывались с его происхождением – он был родом из габсбургской части Польши⁵¹.

Цивилизационные конструкции получили дополнительный стимул к развитию, когда за дело взялись политики из европейских метрополий: перед Первой мировой войной в дискуссиях европейских социалистов, озабоченных растущим колониальным противостоянием Франции и Германии, возник проект «Еврафрики» – некоего единого геополитического конструктора, в котором объединение Европы происходит в целях более мирного и рационального использования колониальных ресурсов «Черного континента»⁵². Напомним, что основатель панъевропейского движения, один из интеллектуальных отцов Европейского союза граф

Рихард Кауденхове-Калерги исключал из своего проекта единой Европы Россию и Англию, в силу того что их интересы направлены вне Европы, но включал в него территории африканских колоний Франции, Германии и Бельгии⁵³. Евразийцы были знакомы с концепциями Калерги, а ученик Трубецкого Михайловский даже присутствовал на конгрессе панъевропейского движения Калерги в Вене и делал об этом доклад на евразийском семинаре.

Таким образом, идеи Трубецкого появились в определенном контексте: немецкая этнология подробно разрабатывала теории распространения культурных характеристик на определенной территории, а в англо-американской антропологии звучала, пусть и имплицитно, критика европейского универсализма. Европейские политики и идеологи уже обратили внимание на колониальный вопрос – задолго до Версальской конференции – и пытались создавать такие ментальные карты Европы, которые инкорпорировали бы колониальные народы в единое пространство с метрополиями. Трубецкой, унаследовавший концепцию культурно-исторических типов от немецких и российских романтиков и неославянофилов, трансформировал ее, объявив особой цивилизацией прежде всего Европу – «романо-германский мир»⁵⁴. Когда Трубецкой писал свою книгу, речь еще не шла об особой российской цивилизации – Евразии, – которая выйдет из евразийских дискуссий и переписки в публичную сферу лишь через год⁵⁵. Речь шла именно о европейской цивилизации; основным тезисом Трубецкого была особость и агрессивность этой цивилизации.

Традиция культурных типов и ареалов, появившаяся в связи с необходимостью противостоять полигенистским и расистским идеям, была использована Трубецким для воздвижения преград на пути влияния европейской модерности.

Культурные ареалы и критика модерна

Антиколониальная риторика Трубецкого вписалась в нарратив евразийства благодаря «колониальному» комплексу, который начал формироваться у части российской эмиграции. В евразийском нарративе антиколониализм, главным пафосом которого было отрицание Европы, структурно сочетался с другими элементами доктрины евразийцев. Так, неприятие петербургского периода российской истории связывалось с концепцией европейского культурного доминирования России как колониального. Трансформируя идеи славянофилов и народников, в своих интерпретациях русской истории евразийцы, прежде всего, пытались восстановить попорченную евроцентризмом справедливость и обнаружить истинные, евразийские черты, сформировавшиеся во взаимодействии с монголами и тюрками. Причем антиколониальная риторика, казалось бы, должна была быть направлена в первую очередь против петербургского режима, который идентифицировал себя с Европой и «ориентализировал» тюркские и иные народы Российской империи.

Несмотря на прославление неславянских народов и их участия в российской истории (что до сих пор продолжает привлекать к евразийству сторонников и заинтересованных исследователей), для евразийцев русская культура, православие, русский язык всегда оставались центром их доктрины и мироощущения. Как писал Трубецкой Сувчинскому, «центр моего исторического построения в особом понимании отношения московского царства к монгольской монархии. Я формулирую это так: свержения татарского ига на самом деле не было, а было обрусение и оправославление татарщины, состоявшее в том, что ханская ставка переехала в Москву, монгольский хан заменился православным русским царем, а степь из кочевья превратилась в пахотное поле»⁵⁶. Для Трубецкого, таким образом, факт участия татарской государственной или культурной традиции в московском царстве сводился к «оправославлению» ханской власти. Не татарская составляющая в русской истории была важна в этом историческом построении, не попытка вскрыть истинную роль неславянских

народов в истории России, а государственная традиция русского православного царства. Характерно, что среди евразийцев практически не было представителей неславянских народов России⁵⁷. Православие оставалось важнейшим элементом мироощущения евразийцев, причем именно в контексте взаимоотношения с европейской культурой. Именно вследствие этого в 1923 году евразийцы предприняли публикацию сборника «Россия и латинство», направленного против католицизма⁵⁸. Католицизм ассоциировался у евразийцев с европейской культурой, а жизнь в изгнании сделала их особенно ревностными адептами православия.

Культурному миру Европы с его претензиями на универсальность Трубецкой противопоставлял мир народов Азии и Африки. Однако утверждения евразийцев о существовании особых культурных миров очень двусмысленны. Как отмечали многие исследователи, евразийцев не особенно интересовала граница между Евразией и Азией – за исключением географических рассуждений Савицкого. Мы вряд ли найдем среди евразийских работ подробные исследования культуры или быта азиатских народов – все внимание евразийцев, весь пафос их теорий был направлен на конструирование границы именно с Европой, на обличение Европы. В ней евразийцы видели не столько геополитического соперника России, сколько источник стандартизации и унификации, присущих модерности. Обсуждая роль современного искусства, Трубецкой писал Сувчинскому:

Когда взбунтовавшийся против красоты футурист рисует или описывает европейскую фабрично-городскую культуру, это безобразное, извращенное создание рук человеческих, эту омерзительную вавилонскую башню, – он в своей сфере, ибо смаковать, наслаждаться уродством и есть бунт против красоты... суть и первопричина футуризма именно в смаковании и воспевании машинно-бетонно-бензинно-и т. д. европейской современности, и что именно *это* привлекает к футуризму его адептов⁵⁹.

Воспринимая Европу как сосуд, содержащий разрушительную силу современности – нивелирующую различия модерность, – евразийцы дискурсивно возводили вокруг этого сосуда непроницаемый культурный барьер. Примечательно, что это стремление сделать Европу непроницаемой извне (в конце концов, внутри Евразии границы между культурами были для евразийцев преодолимыми) совпадало с их глубокой убежденностью в том, что культурные типы сотворены Богом, что различия являются религиозным феноменом. Свою статью о происхождении культур и языков Трубецкой озаглавил «Вавилонская башня и смешение языков». В письме Сувчинскому он объясняет это так:

У меня план доморощенно-богословского обоснования идеи национально-ограниченных культур. Статья будет называться «Вавилонская башня и разделение языков». Тезисы: интернациональная культура *eo ipso* безбожна и ведет только к сооружению Вавилонской башни; множественность языков (и культур) установлена Богом для предотвращения новой Вавилонской башни; всякое стремление к нарушению этого Богом установленного закона – безбожно; истинные культурные ценности может творить только культура национально-ограниченная; христианство выше культур и может освящать любую национальную культуру, преобразуя ее, но не уменьшая ее своеобразия; как только в христианстве начинает веять дух интернационала, оно перестает быть истинным⁶⁰.

В этой статье Трубецкой повторил идеи, впервые озвученные в его работе «Европа и человечество»: единая мировая культура невозможна, так как противоречит Божьему про-

мыслу, создавшему различные культуры. Попытка стереть эти различия – каковой является буржуазная современность – ведет к уничтожению смыслообразующей силы истории. В этом страхе перед современным обществом, в котором исчезают различия и начинает господствовать серая масса, евразийцы следовали за Константином Леонтьевым, и вовсе не случаен тот факт, что в 1923 году проект публикации работ Леонтьева с введением и подробным комментарием занимал одно из важнейших мест в переписке евразийцев⁶¹. Для евразийцев в целом и для Трубецкого в частности главным противником была Европа, которая являлась источником все большей стандартизации жизни и культуры. При этом критика европейской культуры как орудия колониального господства имела в качестве своего источника не столько самоидентификацию с колониальным субъектом – как это было, скажем, у Махатмы

Ганди, – сколько неоромантические представления о буржуазной традиции как главной опасности для диверсифицированной, «цветущей» культуры и динамичной истории. Колониальный мир выступал в этой неоромантической картине как «старая новая сила»: старая – поскольку ее вступление на мировую арену имеет регрессивный характер, направленный против «прогрессивной» Европы, новая – поскольку в ней есть энергия и сила, необходимые для противостояния буржуазной технической цивилизации.

Патрик Серио считает, что русские «пражане» – Трубецкой, Савицкий, Якобсон – были неоплатониками. В их воззрениях феноменальный мир был лишь отражением мира ноуменального – мира идеальных форм, в котором царят гармония и порядок. В мире феноменальном человек видит лишь часть более крупного целого. Тот, кто овладеет правильной техникой познания, будет способен обнаруживать удивительные закономерности, отраженные в ноуменальном мире. Так, правильный взгляд на беспорядочные факты, предоставляемые различными науками («атомистические» факты, если следовать терминологии Савицкого, Якобсона и Трубецкого), позволяет четко и ясно определить границу Евразии (и, соответственно, границу Европы и модерна). Эта граница становится очевидной при наложении друг на друга различных составляющих – данных о климате, почвах, распространении определенных лингвистических (в частности, фонологических) черт. Серио предполагает, что такой подход у евразийцев связан с освоением ими писаний православных отцов церкви⁶². Возможно, что метафизический нарратив евразийства связан и с необычно острым ощущением распада и прерывности, в котором жили евразийцы (сложно найти более «постмодернистскую» ситуацию, чем ситуация эмигрантов, живущих в «рассеянии», в эпоху социальных и политических потрясений). Глубокая вера в высшую предустановленность обнаруживаемых человеком законов и правил – это своего рода конденсат метафизического мышления, ищущего основания человеческого бытия.

Известно, что одна из функций структурированного нарратива – скрепление идентичности, восстановление предположительно утраченной целостности картины мира. Можно допустить, что евразийский нарратив, который соединил в себе практически все аспекты научного знания и идеологического творчества и основывался на глубокой вере в необходимость (даже божественную данность!) существования Евразии, служил одним из средств выражения находившейся под угрозой идентичности эмигрантов. А комбинацию критики европейского колониализма и стремления ограничить нивелирующую силу современности путем создания заслона из культурных ареалов на пути европейской колониальной агрессии можно охарактеризовать по-разному: как социальную и культурную утопию представителей привилегированных классов рухнувшего старого режима, стремившихся сохранить целостность последней континентальной империи Европы (ср. с корпоративизмом Жозефа де Местра и антиреволюционными писаниями Луи Габриэля де Бональда), как попытку «помыслить империю» в век национальных государств или как знакомую по европейскому контексту критику модерна в эру кризиса капитализма и парламентской демократии.

Евразийская идеология соединила в себе две версии критики европейской современности. Первая, связанная с концепциями культурных ареалов, воздвигала барьеры на пути «европейской цивилизации» и провозглашала существование отдельных, взаимонепроницаемых культур. Вторая версия критики европейской современности была связана с комплексом проблем, вытекавших из имперского характера Российского государства. Поскольку возникновение современного русского национализма предполагало применение в России ориенталистских практик, воздвигавших культурные барьеры между национальной метрополией и «азиатскими» колониями, такая версия колониализма подрывала единство империи. Евразийская критика современности отрицала наличие колониализма в России и, объявив Россию Евразией, синтетической культурой различных народов, пыталась преодолеть связанные с идеей современного национального государства западного типа представления о превосходстве европейской цивилизации. В результате евразийцы оказались очень близки к постструктуралистской критике колониализма, связавшей современное научное знание и культуру с колониальной властью. Контекст эмиграции, предполагавшей утрату статуса и перемену дислокации, заострил антиколониальную и антиевропейскую риторику евразийцев, сделав возможным идентификацию (пусть и поверхностную) представителей российской интеллектуальной элиты с колониальными народами.

6

Мысля империю «структурно»: евразийская наука в поисках единства

В рамках новой парадигмы

Евразийство с самого начала своего существования заявляло о своем научном призвании. Дело было не только в том, что большинство основателей движения являлось профессиональными преподавателями и учеными. Евразийцы утверждали, что доказательства существования Евразии – это результат научных изысканий. Научный авторитет некоторых евразийцев и их «попутчиков» – Трубецкого, Якобсона, Савицкого, Вернадского – остается очень высоким и сегодня, так как их работы оказали заметное влияние на развитие лингвистики, географии и истории. Существует и интригующая связь между идеологией евразийства и структуралистской парадигмой, получившей широкое развитие в ходе XX века.

Для того чтобы описать эту связь, требуется немало усилий: структурализм как научный метод применялся в таких разных дисциплинах, как литературоведение и математика. Работы, в которых затрагиваются вопросы структуралистской методологии, чрезвычайно многочисленны и практически не поддаются анализу в рамках одного исторического исследования. Более того, ни один из видных структуралистов никогда не брал на себя труд специально изложить основы своего метода, и каждый из них подчеркивал какой-то один его аспект.

Можно выделить основные, базовые принципы, на которых основывается структуралистский метод. Это, прежде всего, вопрос о взаимоотношении целого и частей. Структура в структурализме означает не способ аналитического членения универсума эмпирических данных, а по большей части скрытый (и подлежащий открытию и описанию) принцип взаимоотношения частей. Структурализм имманентно холистичен, он антиатомистичен, поскольку работает с целостностью, определяемой тем, что весь опыт социальной деятельности, данный нам в кодах, изначально организован внутренней глубокой структурой. Человек, по сути, обладает имманентной структурирующей способностью, и поэтому все элементы социальной деятельности, от осуществления практик родства до производства литературных текстов, определяются набором внутренних правил, которые придают эмпирически воспринимаемым явлениям определенную структуру.

Структурализм находится в оппозиции к любому каузальному объяснению, поскольку время не является главной константой структуралистского анализа, для него это лишь один из факторов. Для структуралистского анализа важно состояние структуры в каждый момент времени и, соответственно, изменения структуры согласно определенным законам ее трансформации. Для структуралиста не важно, почему структура меняется, для него важен принцип ее изменения. Синхронный анализ, состояние системы в настоящем дает ключ к пониманию диахронии, эволюции системы во времени. Поскольку генеалогически структурализм связан с лингвистикой, вся социальная деятельность воспринимается структуралистами как язык, или, используя термин Ролана Барта, как коды, в которых, соответственно, есть свои языковые правила.

Одним из результатов этого «лингвистического поворота» стало внимание к тому, что Якобсон считал закономерным итогом развития современной науки, – к конструктивизму, то есть к признакам приобретенным, а не генетически переданным¹. Структурализм в XX веке прошел сложный путь от исследования человеческого языка до амбициозного проекта

исследования человека и человеческих обществ посредством открытия и описания структур значения в культуре. В процессе своего развития структурализм на время стал доминирующим способом научной мысли, а затем подвергся систематической деконструкции: после Второй мировой войны, сталинизма и нацизма критика диалектики Просвещения, в которой зарождающийся постмодернизм увидел причину исторических трагедий XX века, коснулась и его основ. В то же время из структуралистского анализа выросла так называемая постструктуралистская теория (прежде всего Мишель Фуко), попытавшаяся реализовать проект по отысканию скрытых структур значения в жизни человеческих обществ вне строгих сциентистских рамок структурализма².

В какой степени евразийцы были «структуралистами», вопрос очень сложный. Следует учитывать, с одной стороны, их отношение к идеям общепризнанного основателя структурализма Фердинанда де Соссюра. В опубликованной недавно блестящей работе, посвященной анализу структуралистского метода Трубецкого, Якобсона и отчасти Савицкого, Патрик Серио убедительно доказал, что этот структурализм отличался от подходов Соссюра своим неоплатоническим характером³. Для евразийцев структура была заранее заданной, онтологической сущностью, требовавшей своего раскрытия в различных феноменах, тогда как структура Соссюра – ментальный конструкт, создаваемый с аналитическими целями. С другой стороны, евразийские концепции в лингвистике (в частности, географической лингвистике), географии и истории в целом отвечают тем базовым принципам, под которыми подписывались структуралисты в XX веке. Наконец, как это верно отметил Серио, именно онтологический структурализм евразийцев (в особенности Якобсона) привел к резкому росту популярности этого метода, стимулировав различные прикладные исследования в антропологии, социологии, истории и т. д. В этом смысле, с исторической точки зрения, значительным оказывается не столько отличие структурализма евразийцев от взглядов Соссюра, сколько их до сих пор недооцененное последующее влияние на послевоенное развитие гуманитарных и социальных наук.

Даже отнесясь от конкретных проблем, разрабатывавшихся в лингвистике или географии евразийцами, можно утверждать, что их влияние на интеллектуальную историю XX века все еще ждет своего исследователя: напомним, что Клод Леви-Стросс, ключевая фигура в структуралистском «лингвистическом повороте» 1950-1970-х годов, познакомился с соссюровской лингвистикой в ее «пражской» интерпретации через Романа Якобсона⁴. Именно Якобсон рекомендовал Леви-Строссу написать работу, посвященную структурам родства. Под влиянием идей Якобсона Леви-Стросс совершил переворот в антропологии, отойдя от биологически ориентированных исследований (изучения «генетических признаков», по терминологии Якобсона) к выявлению структур в культуре. Якобсон же, в свою очередь, сформировался как ученый в процессе интенсивного общения с Трубецким и Савицким, и его перу принадлежит изложение евразийских принципов в языкознании, причем идеи Якобсона о преимуществе признаков приобретенных перед признаками генетическими родились именно в контексте евразийской идеологии, с ее поиском общих характеристик народов бывшей Российской империи, с ее стремлением подтвердить целостность и неделимость «российского мира»⁵. К сожалению, языковые барьеры и специфическое эмигрантское положение евразийцев воспрепятствовали выявлению их роли в формировании структуральной парадигмы и значения евразийской идеологии для истории структурализма. Работы Якобсона широко известны, но, несмотря на его собственные усилия по популяризации идей Трубецкого и Савицкого, западные исследователи практически не проявляют интереса к их наследию, во всяком случае к комплексному изучению этого наследия и его идеологической составляющей. Немаловажную роль здесь сыграло и то, что идеологический контекст деятельности Савицкого и Трубецкого (и, отчасти, Якобсона) – евразийское

движение – по большому счету остается абсолютно неизвестным даже тем ученым, которые хорошо знакомы с фонологией Трубецкого. А в случае с Савицким неизвестны не только его интеллектуальная биография, но и основные работы по географии, написанные по-русски⁶.

Даже краткое изложение вопросов, связанных со взаимодействием структуралистского метода и евразийской идеологии, позволяет предположить, что существует прямая связь между российским национализмом и империализмом (во всяком случае, концептуализацией этого национализма и империализма в евразийстве) и генезисом и дальнейшим развитием структуралистского метода. В конечном итоге, центральная проблема структурализма – это взаимоотношения частей и целого, а холистическая концепция единства Евразии как раз стремилась разрешить неразрешимую проблему взаимоотношения нации и империи. Структурализм отличался подчеркнутым модернизмом и отрицанием старой науки. Евразийцы также считали себя новаторами, провозвестниками будущего, а не консервативными продолжателями традиций прошлого. Это сочетание холизма и страсти к современности, безусловно, роднило два в принципе далеких друг от друга проекта. Наконец, в своем исследовании различных признаков Евразии Якобсон, Трубецкой и Савицкий предполагали наличие скрытой структуры, определяющей систему характеристик «особого русского мира». Исследование этих характеристик, в свою очередь, стимулировало применение методов, создававшихся в контексте евразийского идеологического проекта, в иных областях.

Разумеется, подробное исследование научной составляющей евразийства (или работ евразийцев-ученых, в которых так или иначе отразилась навеянная идеологией проблематика) выходит за рамки нашего исследования. Не входит в нашу задачу и доказательство того, что все евразийские работы соответствуют принципам структуралистского метода. Мы можем лишь попытаться рассмотреть те ключевые идеи, которые сформировались под воздействием евразийской идеологии и вошли в научный дискурс евразийцев в различных дисциплинах, сочетаясь, с разной степенью гармоничности, с теми или иными научными традициями. Таким образом, это исследование фокусируется на связях между источниками евразийской идеологии, прежде всего на попытке переосмыслить историческую траекторию империи, и динамикой евразийской научной мысли. Это не история лингвистики или географии, но история влияния евразийского комплекса на научную проблематику. Очевидно, в силу такой постановки проблемы изучение конкретных форм структурализма евразийцев остается вне поля внимания.

Вопрос о том, что первично: влияние евразийской идеологии на научные изыскания евразийцев или воздействие научных взглядов евразийцев на «открытие» ими Евразии, – не может быть разрешен однозначно. Очевидно, что евразийская идеология развивалась в тесной связи с научной практикой ведущих евразийских деятелей. По сути, и в их публицистических работах, и в научных исследованиях реализовывалось некое видение мира, философское, политическое и эстетическое, которое само по себе было продуктом целого комплекса движущих сил: внутренней динамики развития истории идей (как в случае со структуральной парадигмой), послереволюционного кризиса (как в случае с имплицитной поддержкой советского режима и критикой ориентализма) или дискурса целостности русского географического и культурного пространства (как в случае с теорией языковых союзов или антропогеографической концепцией).

Евразийцы утверждали, что они являются вестниками новой науки, пришедшей на смену старому подходу. Когда Савицкий опубликовал свою работу о подъеме и депрессии в докапиталистическом мире и она стала объектом критики изнутри евразийства, Трубецкой написал ему:

В своих суждениях о Вашей исторической статье в последнем номере хроники Белецкий и Шеповалов, конечно, не правы. Но, вероятно, эти суждения разделяются большинством историков. Все дело в том, что история

до сих пор была наукой глубоко атомистической и привила атомистический подход к фактам всем, даже молодым историкам. Ваша попытка применения структурального подхода к историческим фактам именно потому и остается непонятной «профессиональным историкам». Но я убежден, что это – единственно правильный путь...⁷

В письме Вере Александровне Сувчинской, начавшей слушать в Париже лекции известного лингвиста А. Мейе и осведомлявшейся у Трубецкого о качествах своего преподавателя, Трубецкой писал:

Meillet действительно вполне достоин того уважения, которое Вы ему уделяете. Это – лучший лингвист нашего времени. Конечно, он знаменует определенную эпоху в истории лингвистики, эпоху, которая м[ожет] б[ыть] скоро должна кончиться и смениться другой...⁸

Примечательно, что Трубецкой, как и Якобсон, публично отзывались о Мейе с большим уважением, тогда как в частной переписке зачастую указывали на отсталость ведущего французского лингвиста – ученика де Соссюра и продолжателя младограмматизма – и его неспособность понять новые веяния в науке.

То новое, на которое так любили указывать Трубецкой и Якобсон, евразийские ученые называли по-разному. Так, Якобсон искал альтернативу атомистическому восприятию универсума фактов, которое он считал характерным для науки XIX века, и находил ее в структурном подходе, по его мнению, тесно связанном с «русской наукой» («русская наука» для евразийцев означала отказ от позитивизма и «фактопоклонства» и своеобразный метафизический романтизм)⁹. Петр Савицкий прошел эволюцию от ученика Струве и сторонника «идеалистического» направления в экономике и географии до автора собственной системы, навеянной традицией натурфилософии XIX века и русской критикой дарвинистской модели эволюции. Для Савицкого общим принципом интерпретации фактов была концепция «периодической системы сущего», подсказанная менделеевской системой, строго организованная и структурированная методика выявления повторов и совпадений в истории, географии, экономике и лингвистике. После освобождения из советского лагеря в Мордовии Савицкий переслал Г.В. Вернадскому свои стихи, написанные в заключении, и присовокупил следующее пояснение:

...Последующие стихотворения охватывают мою небезызвестную Вам концепцию периодической системы сущего. Она охватывает и периодическую систему зон и периодическую ритмику истории...¹⁰

В качестве своего учителя Савицкий неоднократно упоминал Д.И. Менделеева, причем не только в его естественно-научных опытах, но и в его анализе положения России в мире. При этом Савицкий также испытал влияние работ почвовед В.В. Докучаева, которого по праву можно назвать неизвестным предшественником структурализма.

Для Трубецкого, самого религиозного из евразийских ученых, Божественное провидение было источником истины; в феноменальном мире факты, которые открываются взору ученого, суть не более чем формы божественных сущностей. Примечательно, что в своем анализе христианских травелогов средневековой Руси Трубецкой практически описал свой собственный научный метод:

...Высшее счастье, которое может выпасть на долю христианина, есть райское блаженство, состоящее в вечном сверхчувственном восприятии Бога. Этого высшего счастья христианин может достичь лишь после смерти при условии безгрешности своего жизненного пути. Здесь, на

земле, возможно только несовершенное приближение к такому счастью в форме видений... Необходимый душевный настрой приобретался лишь в паломничестве – паломник предстоял перед внешним миром как перед иконой, «иконизировал» его внутри себя. Во всем, что он видел в пути, он отмечал лишь то, что через сверхчувственное зрение мог связать со своими религиозными мыслями и представлениями о Царстве небесном; мимо всего остального он проходил, не замечая его и никак не реагируя. Страна его паломничества была для него большим храмом с бесчисленными яркими иконами¹¹.

В своем евразийском паломничестве Трубецкой, как и другие евразийские ученые, искал в видимых феноменах отражение целостной картины мира, существование которой принималось им на веру. Остается только предполагать, являлся ли этот неоплатонизм Трубецкого результатом интеллектуального воздействия Трубецкого-старшего: Сергей Николаевич Трубецкой долго занимался античной философией, Сократ был его кумиром. Во всяком случае, вопрос о самопознании как центральной философской проблеме, очевидно, переключал в предисловие к первой книге Трубецкого из интеллектуального наследия С.Н. Трубецкого. Очевидно, что неоплатонизм Трубецкого, отмеченный Патриком Серио, был вполне совместим с гегелевской концепцией: так, описывая Сувчинскому взгляды Л.С. Берга, Трубецкой называет их религиозными¹². Для Трубецкого телеологичность и закономерность эволюции, которые защищал Берг, равнялись религиозному взгляду.

При этом можно отметить определенное согласие, которое наблюдалось среди ведущих евразийцев: для них старая наука XIX века характеризовалась, прежде всего, своей атомистичностью и пристрастием к собирательству фактов (очевидная аллюзия на позитивизм), тогда как евразийцы настаивали на том, что определенный метод анализа универсума фактов существует – посредством выявления структуры через анализ эмпирических данных. Для всех евразийцев задачи науки были связаны с осмыслением проблем исторического, культурного или экономического развития России, причем центральным вопросом являлось доказательство единства Евразии. Отсюда следовал тот холистический подход, который был свойственен и структуралистскому направлению в целом. При этом большинство евразийских ученых, судя по всему, подписывались под проектом Трубецкого по созданию синтетической науки – разнообразного комплекса научных разработок, основанных на евразийских принципах и евразийском мировоззрении. Несмотря на различные источники метанаучного дискурса и терминологических репертуаров, евразийские ученые сходились в отношении как к методу, так и к объекту своих исследований: как отметил Патрик Серио, онтологическое существование Евразии как целого не подвергалось ими сомнению. Задача состояла лишь во все более подробном выявлении доказательств этого существования, для чего и был необходим «структурный» подход. Тем не менее эпистемологический принцип неоплатонизма, который, по мнению Серио, характеризовал научный дискурс евразийцев, – это лишь часть грандиозного проекта по перестройке научного знания, в котором история евразийства составляет очень важный и до сих пор малоизученный аспект.

Согласно Серио, исследовавшему работы Трубецкого, Якобсона и Савицкого, евразийство отразило мучительные колебания между романтической и структуральной парадигмой. Именно евразийцы, с их идеологической ангажированностью и поиском доказательств бытия Евразии, особенно наглядно продемонстрировали, насколько нелинейное и не векторное развитие зачастую принимает гуманитарное знание. Метафизический интерес к целостности – симптом травмы пореволюционного поколения, распада имперского пространства и сопротивления атомизирующему действию современного общества – являлся в евразийстве основным мотивом. В то же время, как и в случае с национализмом, в отношении кото-

рого евразийство вышло за рамки знакомого нам по общеевропейскому контексту современного фашизма, евразийские научные построения преодолели антиэволюционистский консерватизм, органическую и биологическую метафоры и географический детерминизм, свойственные, скажем, германской науке второй половины XIX века. Следствием этого преодоления стали научные теории, оперировавшие языком и понятийным аппаратом нарождавшегося структурализма и идеологически предопределяющие открытие все новых и новых законов единства и автаркии Евразии.

Вопрос, который требует самого серьезного рассмотрения – даже если он не может быть разрешен однозначно, – это вопрос о том, в каком отношении находились новые научные принципы, провозглашавшиеся евразийскими авторами, с комплексом проблем, порожденных историческим опытом Российской империи. Можно ли говорить о том, что евразийство лишь использовало методологию структурализма для подкрепления своих идеологических построений или, напротив, что идеология евразийства, теснейшим образом связанная с проблемой исторической судьбы Российской империи, оказала своеобразное и глубокое влияние на формирование структурализма, ставшего *modus operandi* для нескольких поколений европейских интеллектуалов? Осмысление истории России современного периода поставило перед мыслителями одну центральную проблему – проблему отношения целого и его частей. В тот исторический период, когда национальное государство превратилось из политического лозунга в нормативный контекст социально-политической и исторической мысли, вопрос о взаимоотношении империи и наций стал неразрешимым для российских историков и обществоведов. Структуральная парадигма, позволявшая подходить к этой проблеме взаимоотношения целого и его частей в духе «объективного» сциентизма, с одной стороны, оказала огромное влияние на евразийскую мысль, с другой – сама испытала фундаментальное влияние российского имперского комплекса. Может быть, именно поэтому в структурализме евразийцев, помимо общеевропейского источника – лингвистики де Соссюра, – ощущается мощное влияние российской школы структурных исследований в естествознании, которая сформировалась, прежде всего, под влиянием почвоведения Докучаева. С неменьшей ясностью в нем представлено и воздействие философских обоснований системного и холистского подхода в естественных науках, самым ярким представителем которого был В.И. Вернадский. В свете вышесказанного, история евразийства объясняет один из самых неожиданных пируэтов интеллектуальной истории – влияние исторического опыта Российской империи на генезис структурализма.

Империя языка: лингвистика языковых союзов

В последнее десятилетие обсуждение вопроса о взаимоотношении евразийства как идеологии и тех лингвистических дебатов, которые проходили при участии евразийцев, приобрело особенную интенсивность. С повышением интереса к евразийской идеологии после распада СССР возник острый интерес к фигуре Трубецкого, а следовательно, и к его лингвистическим работам. Та связь, которая очевидно существовала между идеологической мыслью евразийцев и занявшим особое место в истории лингвистики XX века Пражским лингвистическим кружком, уже стала предметом нескольких интересных работ.

В программных сборниках евразийства языковая проблема занимала на удивление (принимая во внимание профессиональную деятельность Трубецкого) незначительное место. Несмотря на то что участники движения пытались склонить Трубецкого к подготовке развернутого лингвистического манифеста евразийцев уже в 1922 году, а в 1923-м Трубецкой написал статью «Вавилонская башня и смешение языков», подробное изложение фоновых особенностей Евразии – трактат Якобсона «К характеристике евразийского языкового союза» – появилось лишь в 1931 году, когда движение уже распалось. Евразийцы,

казалось, были гораздо более заинтересованы в исторических, географических и этнографических описаниях евразийской цивилизации, нежели в исследованиях языков населявших эту цивилизацию народов. Однако двое евразийских мыслителей – Трубецкой и Якобсон – были профессиональными лингвистами, активными участниками инновационного интеллектуального проекта, и именно лингвистика связывала евразийство с миром «большой науки». На пересечении евразийского проекта и нового направления, которое пропагандировали Трубецкой и Якобсон, – фонологии – родилась концепция языкового союза. Благодаря роли Якобсона и Трубецкого, в частности, в создании и развитии Пражского лингвистического кружка, евразийство стало известно за пределами узкого круга российской эмиграции, в особенности среди литературоведов и языковедов. Кроме того, в лингвистических работах Якобсона и в мимолетных замечаниях Трубецкого можно видеть, что идеология евразийства – прежде всего ее консервативный модернизм и российский империализм – составляли единое поле с нарождающимся структурализмом.

Несмотря на то что в целом евразийцы мало интересовались культурой и языками народов Евразии как таковыми, в случае Трубецкого это правило не действовало. Дело было не только в профессиональном интересе лингвиста. Описывая «структурное сходство» между строем языка туранских народов и их духовным миром, Трубецкой прибег к метафоре, которая позволила ему сформулировать принципы «евразийского духа». По мнению Трубецкого, евразийский – то есть туранский – характер лучше всего отражался в языковом явлении гармонии гласных, свойственном языкам финно-угорской и тюркской групп. Для Трубецкого звуковая гармония туранских языков послужила точкой отсчета для описания туранского характера и мировоззрения – холистского, не склонного к рационализации, сконцентрированного на достижении гармонии, созерцательного и стремящегося к целесообразности. Парадоксальным образом сам Трубецкой радикально не соответствовал этому образу: страстный любитель логики и ясности, он даже в религиозных вопросах оставался человеком рассуждающим.

В статье Трубецкого «Вавилонская башня и смешение языков» появляется первое значительное упоминание о языках в евразийской литературе. В самой постановке проблемы уже звучат мотивы более широкие, нежели просто описание евразийского феномена. Трубецкого интересуют возможность общечеловеческой культуры, источники и значение многоязычия и существование неких культурных групп, где различные народы разделяют определенные характеристики. По версии Трубецкого, многоязычие (а следовательно, и множество культур) человечества предустановлено Богом, а попытки людей создать интернациональную культуру «*eo ipso* безбожны». Очевидно, что концепция Трубецкого связана с его попыткой оградить мир от тлетворного влияния современной, прежде всего западной, культуры, в которой он видел стандартизацию и, следовательно, уничтожение множественности культур. Этот леонтьевский принцип, уходящий корнями в романтическую традицию, представленную в лингвистике Гумбольдтом и Шлейхером, противопоставлял унифицированной культуре современности с ее технологией и одинаковыми институтами некую утопическую версию средневекового «цветения» и невероятной диверсификации языков и обычаев. Многоязычие и невозможность сведения амальгамы языков к одному недиверсифицированному источнику служили для Трубецкого доказательством верности тезиса о существовании множества взаимонепроницаемых культур, а следовательно, и мощным риторическим инструментом, позволявшим остановить унифицирующее влияние современности.

Характерно, что Трубецкой, отрицая лингвистическую традицию XIX века с ее поиском единого индоевропейского праязыка (по мысли Трубецкого, такой поиск означал оправдание безбожной интернациональной культуры), начало которой было положено Шлейхером (он даже написал текст на индоевропейском праязыке), все же отчасти подписывался под идеей Боппа и Шлейхера о том, что развитие языка представляет собой процесс распада:

классические идеальные языки древности, такие как санскрит, древнееврейский или древнегреческий, обладали сложной морфологической формой. В процессе исторических изменений языки упростились, подобно цветущим культурам древности, которые были стандартизированы современным универсализмом.

Известно, что лингвистика Шлейхера уподобляла классификацию языков классификации видов и была тесно связана с дарвинистской моделью, в которой виды в процессе развития отделяются от единого источника и никогда не скрещиваются. Трубецкой разделял подобный взгляд на наличие границ между языками и культурами: если интернациональная культура безбожна, то границы и различия между культурами приобретают сакральный статус. Вся идеология евразийства была сфокусирована на конструировании и поддержании множественности границ между Европой и Россией-Евразией, причем если за Европой закреплялись такие свойства, как индивидуализм, механицизм, рационализм, безрелигиозность и агрессивность, Россия-Евразия была коллективистской, телеологичной, мистической, органичной и православной.

В лингвистических работах Трубецкого, в частности в его самом важном труде «Основы фонологии», ключевыми стали концепции, связанные с понятием «отграничение». Ведь главный тезис фонологической концепции Трубецкого, впервые в истории лингвистики эксплицитно разделившего фонетику – науку о материальной стороне звука, и фонологию – науку об обозначаемом в языке, в отличие от речи, состоял в утверждении того, что в звуковом строе языка ключевую роль играют именно смысловоразличительные единицы. Причем смысловоразличительная функция приобретается фонетической единицей только в том случае, когда эта единица представляет собой часть оппозиции. В мышлении Трубецкого граница и различие являлись необходимым условием смыслообразования, то есть духовной жизни человека и его культуры вообще. Такое внимание к понятиям границы и различия, унаследованное Трубецким от структурализма Соссюра, у которого смыслообразование в языке есть результат различий элементов внутри системы, в то же время имело своим источником романтическую традицию XIX века с ее «принципом диверсификационизма». В российской истории идей ближайшим источником этой философии различия были работы Константина Леонтьева, видевшего в стандартизации и универсализации современной жизни смерть культуры.

Тем более парадоксально, что в своей статье Трубецкой признает, что существуют некие языковые группы, в которых языки, генетически не связанные между собой, приобретают общие характеристики в процессе исторического сосуществования. Так, балканские языки, такие как болгарский, греческий, сербский и албанский, не будучи прямыми родственниками, выработали общие признаки в силу своего исторического сосуществования. Причем для Трубецкого было неприемлемо понятие субстрата, которым широко пользовался еще один теоретик языковых союзов – датский ученый Санфельд¹³. Таким образом, отрицая возможность скрещивания или слияния культур, Трубецкой утверждал возможность такого их сосуществования, когда некоторые признаки становятся общими. Теория конвергенции, применявшаяся евразийцами для описания ситуации внутри Евразии, была связана у Трубецкого, прежде всего, с немецкой традицией исследования диффузии культурных признаков. С работами Л.С. Берга, посвященными эволюции посредством конвергенции, Трубецкой познакомился относительно поздно, при посредстве П.Н. Савицкого, более внимательно следившего за советскими публикациями.

Разумеется, в центре проблематики языкового союза была Евразия – прототип языковой группы, языковой союз *perse*, Российская империя, необходимость доказать единство которой и вызвала к жизни теории языковых союзов. Под влиянием географических работ Савицкого, о которых речь пойдет ниже, подробно описал евразийский языковой союз Якобсон. По Якобсону, сам подход евразийцев, который сместил фокус с характеристик гене-

тических и унаследованных к характеристикам приобретенным, был связан с грандиозной сменой научной парадигмы. Якобсон считал, что замена касты классом, а генетически определяемой народности – принципом самоопределения является демонстрацией этой новой парадигмы в социальных науках¹⁴. Используя терминологию современных исследований национализма, можно говорить о противопоставлении Якобсоном примордиалистского и конструктивистского подходов, причем выбор автора был явно в пользу последнего¹⁵. Якобсон с очевидной симпатией говорит о планах немецкого лингвиста Вальтера Порцига написать синтаксис «языка Запада» – *Sprache des Abendlandes*.

Для Якобсона философским основанием такой смены ориентиров, перехода от генетической к «функциональной» модели языкознания являлось понятие цели и целеустремленности. Главным вопросом в науке он считал «куда?» – вопрос, который однозначно сменил извечный вопрос науки XIX века – «откуда?». «Цель, – писал Якобсон, – эта золушка идеологии недавнего прошлого, постепенно и повсеместно реабилитируется»¹⁶. Такая футуристическая наука, замешенная на гегелевском понимании диалектики и развертывания во времени, согласно принципу *Gesetzmässigkeit* (закономерности) должна была с необходимостью быть синтетической. Якобсон утверждал, что для выявления проблематики языковых союзов необходимо прибегнуть к «методу увязки», «уловить сопряженность разноплановых явлений». Такой метод, состоявший в системном сопоставлении данных различных наук с целью выявления границ и характеристик Евразии, был навеян работами Савицкого в области географии. Этот метод в конечном итоге стал фирменным рецептом евразийской школы мысли.

Среди фонологических признаков евразийских языков Якобсон, прежде всего, выделял такие характеристики, как мягкостная корреляция согласных и отсутствие политонии. Вывод Якобсона был однозначен: «Состав фонологических корреляций в языках евразийского союза характеризуется сочетанием двух признаков: 1. монотония, 2. тембровые различия согласных, проявляющиеся, за вычетом кавказской периферии Евразии, в виде мягкостной корреляции». Каковы бы ни были точные границы этих признаков, для автора было очевидно, что на их основании можно выделить особый языковой мир, не знающий политонии, но использующий мягкость согласных, причем удивительным образом этот мир звуковых закономерностей совпадает с описанным Савицким миром географических закономерностей и с воссозданным усилиями евразийцев историко-культурным миром Евразии. История возникновения этого языкового союза иллюстрировалась Якобсоном очень характерным образом – на примере исчезновения мягких согласных в чешском языке в результате преобладающего влияния немецких говоров. В своей работе Якобсон приводит в качестве примера восклицание Яна Гуса (любимца славянофилов!), упрекающего чехов в онемечивании и утрате мягкого «л»¹⁷. Тем не менее Якобсон признавал текучесть границ языкового союза и отдавал себе отчет в невозможности проведения линий водораздела, которые четко отделили бы «Евразию» от «Европы».

Отметим, что исследование Якобсоном фонологических характеристик евразийских языков было напрямую связано с проблематикой российского многонационального государства. Речь идет в данном случае не только о том, что Якобсон использовал данные о метисации языков национальных меньшинств или адаптации русских говоров в Сибири под влиянием местных языков. Якобсон широко использовал советскую языковедческую литературу, писавшую отчасти и теми лингвистами, которые принимали активное участие в процессах нациестроительства в СССР. Так, в частности, Якобсон активно ссылается на исследования финноведа Д. Бубриха, данные которого играли такую важную роль в принятии советскими властями решения о замене финского языка на карельский в учебных заведениях Советской

Карелии. Пожалуй, лишь эмигрантское положение Якобсона, закрывшего себе путь в СССР статьей на смерть Маяковского, предотвратило его собственное участие в этих процессах.

Существенное влияние на позицию Якобсона в вопросе о языковом союзе оказали работы такого ученого, как Д.К. Зеленин, который описал систему табу у народов Евразии и обнаружил единообразие словесных запретов среди различных этнических групп. Как замечал Якобсон, Зеленин «устанавливает общеевразийские черты отношения говорящих к слову». Якобсон цитирует А.С. Селищева, А.П. Георгиевского, В.Н. Баушева, а также указывает на работы В. Шмидта, австрийского этнографа и теоретика антропологии, автора упомянутой выше теории *Kulturkreisen*, как на один из источников «географической фонологии». Впрочем, Якобсон подчеркивал ограниченность работ Шмидта, связывая ее с европоцентризмом австрийского ученого, не сумевшего избежать построения оценочной шкалы: Шмидт объяснял специфические языковые характеристики «бедностью» той или иной культуры.

Империя пространства: месторазвитие и системная география

Самым известным элементом евразийства является его географическая концепция, безусловным автором которой был Петр Николаевич Савицкий¹⁸. Географические идеи Савицкого не только дали название всему движению (Савицкому также принадлежит приоритет в использовании термина «Евразия» в смысле особого «российского мира») и сформировали контекст для развития других элементов евразийства. Савицкий, как никто другой, способствовал применению «структурального» метода в различных дисциплинах, которыми занимались евразийцы, стимулировав мысль Якобсона, недаром вспоминавшего о нем как об «основателе структуральной географии». Его влияние на формирование взглядов Якобсона и Трубецкого до сих пор практически не оценено, как не оценена и его роль в истории структурализма. В силу этого широкой публике остались неизвестны такие источники структуралистской мысли (транслированные Савицким от Якобсона к Леви-Строссу), как работы почвовед В.В. Докучаева.

Географическая концепция Савицкого впервые появилась в печати в его рецензии на книгу Трубецкого «Европа и человечество»¹⁹. Именно в этой рецензии Савицкий сформулировал основные положения географически детерминированного евразийства. Отвечая на призыв Трубецкого эмансипировать колонизованные европейской культурой страны, Савицкий задался вопросом о том, «не возникли ли условия для эмансипации конкретной культуры». Он считал, что противопоставление Трубецким Европы и человечества «есть звук пустой», но за идеями Трубецкого стоит конкретная реальность, и эта реальность – противопоставление Европы и России. Отметив географические сложности, связанные с «районированием» Европы и России, Савицкий заявил, что в «чисто географическом смысле Россия в границах 1914 г. (sic! – С.Г.)...представляет собой своеобразный мир – отличный и от Европы (как совокупности стран, лежащих к Западу от Пулковского меридиана), и от Азии...». По мнению Савицкого, это

наиболее континентальный мир из всех географических миров, того же пространственного масштаба, которые можно было бы выкроить на материках земного шара. Основным топографическим элементом России, как географического целого, являются три равнины: основная российская (ее можно именовать Беломорско-Кавказской), Сибирская и Туркестанская... образующие, благодаря незначительности пределов, их отделяющих друг от друга... единое, во многих отношениях, равнинное пространство.

Этот мир характеризуется и тем, что в нем господствует «один и тот же климат на всем протяжении, существенно отличный от климата прилегающих стран, типы осадков, амплитуда температур...». Савицкий признавал, что климат некоторых регионов, прилегающих к иным странам, более близок климату этих стран (например, климат Мурманска ближе климату Скандинавии), но считал это исключением, лишь подтверждающим правило. Более того, структура территории Евразии на всем ее протяжении такова, что характеризуется одной «скрепой» – полосой черноземов, идущей от Подолии до минусинских степей. В этой ссылке на характер почв и их расположение очевидно влияние работ Докучаева, которые впоследствии сыграют огромную роль в формировании взглядов Савицкого. Идея Савицкого о широтных зонах Евразии подтолкнула Трубецкого к мысли связать широтную зону – степь – с историческими данными о роли кочевых народов в истории России. По Трубецкому, степная полоса представляла собой единое «шоссе», связавшее евразийское пространство, и господствовавшее над этим «шоссе» государство, соответственно, господствовало над всей Евразией. Таким образом возникла историческая концепция, наделяющая особой ролью кочевые народы Евразии.

Савицкий утверждал, что

Россия, как по своим пространственным масштабам, так и по своей географической природе, единой во многом на всем ее пространстве и в то же время отличной от природы прилегающих стран, является «континентом в себе». Этому континенту, предельному «Европе» и «Азии», но в то же время не похожему ни на ту, ни на другую, подобает, как нам кажется, имя «Евразия»... Вместо обычных двух – на материке «старого света» мы различаем три континента: Европу, Евразию и Азию...

Однако в характерной для евразийцев манере Савицкий отмечал, что «пределы „Евразии“ не могут быть установлены по какому-либо несомненному признаку, так же как не может быть установлена такая граница в отношении к обычному подразделению Европы и Азии». Поиск таких признаков, их постоянное выявление и наложение одних разделительных линий на другие составляют смысл евразийского исследования.

Как уже было отмечено историками географии, концепция Савицкого не была оригинальной в той ее части, в которой он говорит о материковой природе Евразии, о составляющих ее трех равнинах и об условности деления России на европейскую и азиатскую (сам Савицкий предпочитал термины «Доуральская» и «Зауральская» Россия). Эти тезисы были заимствованы Савицким у панслависта-географа Владимира Ивановича Ламанского (и, отчасти, у Н.Я. Данилевского). Как писал М. Бэссин, Ламанский и Данилевский были первыми в современной российской истории, кто подверг сомнению справедливость проведения континентальной границы Европы по Уральским горам.

Основное новшество географической концепции Савицкого состояло в ее системности. Прежде всего, он не соглашался с произошедшим в начале XIX века разделением географии на собственно географию и статистику (последняя означала в основном описательную науку о государстве; от ит. *statista* — «государственный деятель»), Савицкий следовал скорее традициям немецкой географической науки, в которой территория рассматривалась не сама по себе, но в сочетании с природными физическими данными и антропогенным кругом. Наиболее ярким представителем немецкой географической школы был Фридрих Ратцель, автор фундаментальной работы «Антропогеография». Однако если Ратцеля, прежде всего, интересовало взаимоотношение территории как таковой и живущих на этой территории человеческих обществ с их специфическими формами политического и экономического устройства, то Савицкий предлагал системное исследование территории, данных физической географии, климатологии, биологии (биогеографии), почвоведения и истории челове-

ческих обществ. Как заявлял Савицкий, «социально-историческая среда и ее территория должны слиться для нас в единое целое, в географический индивидуум или ландшафт»²⁰. Для исследования этого единого целого Савицкий предложил известную категорию «месторазвития», которое он определял как «широкое общежитие живых существ, взаимно приспособленных друг к другу и к окружающей среде и ее к себе приспособивших... Необходим синтез. Необходимо умение сразу смотреть на социально-историческую среду и на занятую ей территорию»²¹. Такой синтез, по Савицкому, возможен потому, что поверхность земного шара обладает закономерной организацией: «Геологическое устройство, гидрологические особенности, качества почвы и характер растительности находятся во взаимной связи, а также в связи с климатом и с морфологическими особенностями данного лика земли»²².

Савицкий точно очерчивал уровни возможных месторазвитий: согласно его теории, любая деревня есть «месторазвитие», так же как и евразийская степь в целом. Более высоким уровнем месторазвития является Евразия. Однако, что любопытно, «старый мир» как ограниченная водой поверхность, включающая в себя «Евразию», не признавалась Савицким за «месторазвитие». В шкале месторазвитий сразу за Евразией следует... земной шар! Как сообщал Савицкий, «между понятием земного шара как месторазвития человеческого рода и определением как „месторазвития“ России-Евразии – большая принципиальная разница. Мы знаем другие месторазвития, соразмерные России-Евразии (например, „месторазвитие“ Европы); но мы не знаем иных месторазвитий, кроме земного шара...». Очевидная проблематичность этого тезиса совершенно не смущала Савицкого, несмотря на то что он сам подробно аргументировал, почему старый мир в целом следует называть не Евразией, как это сделал А. фон Гумбольдт, а «Икуменой» – «вселенной, материковым массивом, на котором разворачивалась и разворачивается русская история, основным континентальным массивом Старого Света...»²³.

Задачу выделения из территориальных массивов континентов и установления границ Савицкий считал одной из самых фундаментальных проблем знания. Районирование было для него важнейшим методом и в то же время целью географической науки (и, в принципе, науки вообще). Такое внимание к процессу конструирования пространственных единиц можно связать со всеобщим интересом к концепции границы в межвоенной Европе; с другой стороны, как и в фонологии Трубецкого, понятие отграничения служит смыслообразованию, а следовательно, является необходимым условием существования множества культур. Савицкий признавал, что при районировании по нескольким признакам «сетка подразделений по каждому признаку имеет тенденцию лечь на карте по-своему... суть дела заключается вовсе не в установлении точных границ... так как в действительности таких границ нет и быть не может...». Савицкий полагал, что идеальным методом районирования является районирование по отдельно взятому признаку. Однако при наложении друг на друга границ «однопризнаковых» районов возможно совпадение границ и, таким образом, выделение «многопризнаковых районов». «Географические миры» – Европа, Азия и Евразия – как раз и являются такими многопризнаковыми районами, выделенными в процессе наложения исследователем границ, установленных по одному признаку, на границы, установленные по другому.

Из указанного принципа районирования вытекает необходимость как можно более разностороннего и в то же время сфокусированного описания географического мира. Именно в этом принципе локального описания по множеству отдельных признаков и последующего сведения данных в единую систему и заключался «метод увязки», о котором говорил Якобсон в работе о фонологическом евразийском союзе, считая теорию месторазвития частным случаем этого метода. Очевидно, что при таком теоретическом подходе возникает вопрос о взаимоотношении между различными частями этой системы. Более того, именно эти отно-

шения, конструирующие специфический облик объекта, становятся центральной проблемой исследования.

Этот созданный Савицким любопытный вариант раннего структурализма, где отношения элементов предпочитают самим элементам, является уникальным по целому ряду причин. Во-первых, он в значительной степени лежал в основе того структуралистского подхода, который сформировался у Якобсона, был транслирован им в европейский контекст и вдохновил Леви-Стросса и его последователей. Этот метод уделял большое внимание параллелизму структур, связывая системы в различных, казалось бы, независимых друг от друга рядах феноменов. Аналогом такому подходу во французском структурализме можно считать работы Жоржа Дюмезиля, который, сравнивая структуры и функции пантеонов и деления обществ на группы, выяснил, что зависимость между религиозными воззрениями и социальной иерархией древних обществ не случайна. Во-вторых, метод Савицкого, в отличие от его европейских аналогов, уходит корнями не в сосюррианскую лингвистику (что еще можно предположить в случае Якобсона и Трубецкого), но в российскую традицию естественных наук. Принято считать, что структурализм – это продукт независимого развития гуманитарных наук, что он способствовал абстрагированию гуманитарных и социальных наук от комплекса наук о природе. Структуральный метод Савицкого демонстрирует, что, по крайней мере, в той линии развития, которая идет от Савицкого, Якобсона и Трубецкого к Леви-Строссу, одним из важных, но практически полностью забытых источников структурализма является попытка сконструировать целостное и синтетическое знание о природе и человеке, которая была близка многим российским ученым в начале XX века. Сама эта попытка, по-видимому, связана с известной популярностью в России немецкой натурфилософии и с той ролью, которую играет в российской истории идеологий поиск целостности (от славянофилов через Владимира Соловьева к неославянофилам кружка Трубецкого-старшего и, наконец, к Владимиру Вернадскому). Разумеется, рассуждение на тему того, что подобный интерес к целостности был результатом запаздывающего развития и сопротивления атомизирующему воздействию современного общества, будет спекулятивным и бездоказательным, но тот факт, что натурфилософская традиция приобрела особое значение в России и Германии, придает ему больше веса. Однако возможно и такое объяснение, которое принимает во внимание позднее и нелинейное развитие современного русского национализма, что стимулировало философскую мысль в направлении поиска гомогенизирующих и объединяющих концепций.

Взгляды Савицкого на конструирование синтетического и структурального – или, по его собственной формулировке, «системного» – метода географического районирования формировались под влиянием ключевой для него фигуры – Василия Васильевича Докучаева²⁴. Казалось бы, далекий от эпистемологических проблем Докучаев занимался исключительно исследованием российских почв, в частности, черноземов. В аграрной и отсталой стране, безусловно, такие работы имели огромное социальное значение (как и вообще аграрная наука в целом). Однако для российского ученого Докучаев был примечательно аполитичным человеком. Его роль в формировании структурного подхода заключалась в том, что он описал взаимозависимость различных факторов, формирующих почвенный комплекс данного региона, – факторов биологических, географических, климатических, антропогенных и т. д. Кроме того, Докучаев пришел к выводу о том, что расположение различных типов почв, будучи зависимым от климатических условий, подчиняется принципам широтно-долготной зональности, то есть является закономерным. В хаос земной поверхности был внесен порядок структуры.

Савицкий цитирует работу Докучаева «К учению о зонах природы», в которой тот очень близко подошел к формулировке структурного подхода, сконцентрированного на взаимоотношениях элементов внутри системы:

Не подлежит сомнению, что познание природы – ее сил, стихий, явлений и тел – сделало в течение XIX столетия такие гигантские шаги, что само столетие нередко называется веком естествознания, веком натуралистов. Но... изучались, главным образом, отдельные тела, – минералы, горные породы, растения и животные, – и явления, отдельные стихии – огонь (вулканизм), вода, земля, воздух, в чем, повторяем, наука и достигла, можно сказать, удивительных результатов, но – не их соотношения, не та генетическая вековечная и всегда закономерная связь, какая существует между силами, телами и явлениями, между мертвой и живой природой, между растительными, животными и минеральными царствами, с одной стороны, человеком, его бытом и, даже, его духовным миром – с другой. А между тем именно эти соотношения, эти закономерные *взаимодействия* (курсив автора. – С.Г.) и составляют сущность познания естества, ядро истинной натурфилософии – лучшую и высшую прелесть естествознания²⁵.

Для Савицкого, убежденного евразийца и националиста (в общеупотребительном смысле слова), докучаевский подход к научному познанию стал результатом «месторазвития» русской географической науки. Подобно Якобсону, связавшему структурный подход с российской интеллектуальной традицией, Савицкий считал, что русская география – особая наука, специфичность которой определена самой спецификой объекта исследования. Если в западноевропейской географии присутствует геоморфологический уклон, то в русской географии – уклон ботанически-почвенный. Отсутствие в России значительных горных массивов, которые могли бы изменить действие климатических факторов, а также ее огромные пространства способствовали тому, что именно здесь можно было отчетливо наблюдать зональную структуру почв и растительности (структуру, зависимую от юго-северного направления изменения климата). Именно поэтому в России получило такое развитие лесоведение, именно поэтому в ней родилось почвоведение. Савицкий даже утверждал, что можно говорить об особых мирах русской и европейской географий, поскольку каждый из этих миров обладает своей поэтикой и своим языком: если в русском языке термины, относящиеся к исследованиям геоморфологии, заимствуются из западных языков, то в европейские языки пришли русские термины почвоведения и зонального распределения (тундра, чернозем и т. д.). Савицкий твердо верил, что русская география не только сама является месторазвитием, но и способствует возникновению синтетического подхода к описанию природных и социальных явлений: в уже процитированном отрывке из Докучаева проявляется общая тенденция российских географов не только описывать природный феномен, но и исследовать взаимозависимость всех форм живой и неживой природы, а также человеческих обществ на данной территории²⁶. Можно только поражаться тому, насколько тотален проект Савицкого: речь идет об абсолютном синтезе знания, объект которого имеет единственную границу – пространственную, четко очерченный географический индивидуум.

Подход Савицкого к этому географическому индивидууму отличался своеобразием и оригинальностью. Используя метод Докучаева по выделению почвенных зон, Савицкий предложил метод определения широтно-полосовых зон и призывал учитывать два фактора. Прежде всего, речь шла о факторе климатическом, в первую очередь о температурном изменении по линии «юг-север». Очевидно, что при прочих равных условиях, при продвижении с юга на север температурный режим меняется в сторону понижения среднегодового значения. Савицкий назвал этот фактор «юго-северной правильностью». Однако этот фактор действует не сам по себе, а с учетом второго фактора – изменения влажности. Опять же, при прочих равных условиях, влажность будет понижаться по мере продвижения к точке наибольшего удаления от морей в центре Евразии. Этот фактор Савицкий именовал

«центро-периферической правильностью». Савицкий признавал, что четкое зональное деление невозможно в силу зонообразующего влияния рельефа, обуславливающего как изменения температуры, так и колебания влажности. Однако – и в этом Савицкий видел уникальность своего проекта географической Евразии – низменности-равнины этого «континента» практически полностью свободны от влияния рельефа. Принцип «юго-северного» и «центро-периферического» вектора должен работать на этих равнинах с математической точностью. Учитывая влияние Ледовитого океана, самой большой прибрежной линии России, изменение влажности будет совпадать с изменением температурного режима при продвижении с юга на север (с незначительными исключениями из правил). Разумеется, влажность возрастает при продвижении не только с юга на север, но и с востока на запад, к берегам Атлантического океана. Однако это возрастание, как утверждал Савицкий, на порядок меньше «юго-северного». Результат этого грандиозного климатологического районирования состоял в том, что невозможно разделить территорию России-Евразии на последовательные долготные зоны – при продвижении с востока на запад изменения не носят драматического характера. При движении же «вертикальном», с юга на север, можно выделить резко отличные друг от друга последовательные широтные полосы – «горизонтально-зональные изменения». При приближении к Европе географические особенности Евразии не меняются – такое изменение возникает лишь на «безопасном» направлении к Ледовитому океану²⁷. Таким образом, Савицкий смог сконструировать географический мир Евразии «по вертикали», устранив «восточный склон Европы»: тезис о европейской цивилизации, запоздало приходящей на восток Европы, при такой организации пространства не имел смысла. Евразия переставала быть «отстающей в Европе» – она становилась автаркическим миром, лидером колониальных народов, требующих эмансипации от колонизирующей европейской культуры.

Географическая концепция Савицкого, возникшая под влиянием натурфилософской традиции российского естествознания, оказала формирующее влияние на мышление двух лингвистов, Трубецкого и Якобсона. Якобсон, сыграв ключевую роль в кристаллизации структурального метода в лингвистике и антропологии, транслировал определенные элементы концепции Савицкого, ее эпистемологический ракурс, в европейские социальные и гуманитарные науки. Воспринятый европейскими учеными, этот вариант структурализма выработал свою собственную генеалогию, в которой уже не было места натурфилософским источникам структурализма евразийцев, не говоря уже об идеологическом контексте евразийского движения, которое отражало исторический кризис Российской империи. Тем не менее эта страница в истории структуралистской мысли должна получить свое освещение, вне зависимости от того, каковы были политические и социальные взгляды самих евразийцев.

7

В поисках третьего пути: евразийская организация между фашизмом и коммунизмом

Движение евразийцев объединило в себе элементы интеллектуального кружка и подпольной революционной организации: интеллектуальное движение евразийцев, существовавшее в более или менее организованной форме в течение десятилетия, развернуло активную публикаторскую и лекционную деятельность, трансформировавшись в квазипартию и обратив на себя внимание образованного общества эмиграции и советских спецслужб, которые считали его влиятельной силой. Такая активность вызывает интерес даже на фоне процветавшего издательского дела «зарубежной России», в которой, благодаря присутствию большого количества образованных людей, в межвоенную эпоху сформировался емкий и разнообразный культурный рынок¹. В истории евразийского движения можно выделить несколько основных линий: во-первых, это история поиска и нахождения средств для публикаторской и организационной деятельности; во-вторых, трансформация кружка интеллектуалов в подпольную организацию со своей структурой. Этот процесс преобразования евразийства в квазипартию проходил, с одной стороны, в условиях «инфильтрации» в круги эмигрантов агентов советских спецслужб, с другой – под влиянием группы офицеров-монархистов, близких к генералам А.П. Кутепову и П.Н. Врангелю и присоединившихся к евразийству в 1922–1924 годах. Эти офицеры, став частью широкой сети, созданной боевой организацией монархического Российского обще-воинского союза и «Трестом», связали доморожденных подпольщиков – интеллектуалов Трубецкого, Савицкого и Сувчинского – с боевиками Кутепова и агентами ОГПУ.

Трансформация евразийства из кружка интеллектуалов в подпольную организацию происходила и на фоне формирования политической доктрины движения, которое провозглашало необходимость поиска третьего пути между капитализмом и социализмом. Согласно евразийской теории, революция стала закономерным итогом развития царской России, насаждавшей в Евразии чуждый европейский режим. В то же время революция рассматривалась как высшая точка современности, как событие вселенского масштаба, сделавшее возможным развитие новых принципов в Евразии и стимулировавшее появление нового правящего слоя. Этот новый правящий слой вынужденно исповедовал идеологию большевиков, но в силу своей волевой природы неминуемо должен был воспринять евразийское учение и понять гибельность марксизма.

При этом евразийцы настаивали на том, что новая форма государственного устройства должна в принципе сохранять основные черты советского режима, например демотический строй, при котором группа интеллектуалов, «знающих» принципы верной идеологии, ведет народ к известным ей целям. Такое государство следует принципам «идеи-правительницы» и гарантирует своим гражданам коллективные принципы и национальную самобытность. В таком государстве господствует автаркическое самодостаточное хозяйство, основанное на представлении об «обусловленной собственности», а в национальных отношениях такое государство проповедует «общеевразийский национализм», который составляется из национализмов всех народов Евразии.

Более того, евразийская идеология эстетизировала политику подобно тому, как это происходило с фашистами в Италии, Франции и Германии. Для Сувчинского и Трубецкого политика была производной от «культуры», она являлась результатом эстетического и религиозного опыта, а не рационального отражения взаимодействия социальных сил. Сувчинский был автором евразийской эстетики, которая предполагала поиск новых форм в искусстве и

литературе и при этом настаивала на сохранении религиозного, «романтического» основания. Следствием такого подхода была и направленность эстетической теории евразийцев, которые пытались найти третий путь между формализмом и марксизмом².

Как писал Трубецкой Сувчинскому, евразийцы принимали советский строй и «три четверти» советской политики. Единственное, с чем они не соглашались, – это сама марксистская идеология, которую проповедовали большевики. Не составляет труда заметить, что такое учение было чревато все большим креном в сторону открытой поддержки советского режима. На протяжении всей истории евразийского движения его участники надеялись, что в СССР найдутся силы, которые осознают верность евразийской идеологии и возьмут на себя труд по ее реализации. Когда же организованное евразийство распалось, лидеры движения (Трубецкой в частности), по-видимому, утратили какие-либо иллюзии в отношении СССР, а многие другие участники превратились в верных сталинцев. Арапов стал сотрудником ОГПУ и вернулся в СССР; Сувчинский, попытавшись на последнем этапе истории движения превратить его в орган советского режима, чудом не вернулся в Россию и впоследствии отошел от политики, сохраняя в то же время симпатии к советскому режиму; Савицкий, продолжая верить в евразийскую теорию, все так же неустанно пропагандировал ее, впрочем, не надеясь более на перерождение советского режима.

Безусловно, огромную роль в поддержании евразийской веры в то, что внутри СССР назревают какие-то перемены, сыграла грандиозная провокация «Треста», растянувшаяся с 1922 по 1927 год. На этот же период приходится финансовый и публикаторский расцвет евразийского движения. Именно в эти годы к евразийству присоединяются и офицеры, принесшие с собой дух фашистских движений межвоенной Европы и стремление к активной подпольной деятельности. Эти три фактора: заложенное в идеологии евразийства преклонение перед новыми антилиберальными формами государственного устройства и перед «волевой природой» советской власти, операция ОГПУ и приход офицеров в движение – определили его динамику в 1922–1928 годах. Они же определили и тот путь – от активной подпольной деятельности против большевистского режима до полного его принятия, который прошли евразийцы и их сторонники.

Деньги и издательства

Обратимся вначале к вопросу о финансировании евразийства. Для успешного функционирования евразийского проекта нужны были средства, и порой немалые. Учитывая, что трое ведущих евразийцев жили в столицах трех разных стран, поездки и съезды представляли собой проблему не только времени (у занятых в циклическом мире академии Савицкого и Трубецкого в особенности), но и средств. Подобная ситуация складывалась и с пропагандистскими, лекционными и инспекционными поездками по центрам эмиграции. Впечатляющая издательская программа движения тоже требовала вложений. Евразийство функционировало как пропагандистский и научный институт, с постоянными семинарами и лекциями, с собственной издательской программой, включавшей ежегодную публикацию от одной до десяти книг и брошюр, ежегодную «Евразийскую хронику» и выходившую в 1928–1929 годах газету «Евразия»³.

В первые годы существования движения издательская деятельность евразийцев носила характер если не случайный, то во всяком случае неустойчивый. В 1920–1921 годах евразийцы зависели от Русско-Болгарского книгоиздательства, управлявшегося Русчу Георгиевичем Молловым. Болгарин по происхождению, до революции он сделал успешную карьеру в рядах российской бюрократии, дослужившись до поста губернатора Полтавской губернии. Учредителями этого издательства были Николай Сергеевич Жекулин, редактировавший «Летопись» в дореволюционном Киеве, и Петр Петрович Сувчинский. Вполне воз-

можно, что Сувчинскому удалось вывезти какую-то часть огромного семейного состояния – во всяком случае, многие эмигранты считали его миллионером – и вложить эти средства в издательство (как бы то ни было, в последующие годы материальное положение Сувчинского, по всей видимости, не отличалось от положения его коллег по движению). В этом издательстве вышли книги Герберта Уэллса с предисловием Трубецкого, «Европа и человечество» Трубецкого, а также первый манифест евразийцев – сборник «Исход к Востоку»⁴. Существуют противоречивые данные о том, насколько успешным было сотрудничество Русско-Болгарского книгоиздательства с евразийцами. Так, Трубецкой писал Якобсону о том, что его первые книги разошлись очень быстро и он считается среди издателей выгодным писателем⁵. Савицкий сообщал своим родным, что первая книга евразийцев продается очень успешно – несмотря на то что эта работа скучна и непригодна для сплошного чтения⁶. В то же время в 1925 году Трубецкой пишет Сувчинскому о нераспроданных остатках тиража «Европы и человечества» на складах издательства в Софии⁷.

С отъездом евразийцев из Софии прекратилась и связь с Русско-Болгарским книгоиздательством. Встал вопрос о том, где, каким образом и на какие средства будет осуществляться публикация евразийских сборников. За организацию издательского дела евразийцев, начиная с болгарского периода, отвечал Сувчинский, переехавший в 1922 году в Берлин. В том же году в берлинском издательстве «Геликон» вышел второй сборник евразийцев – «На путях». «Геликон» был характерным для Берлина начала 1920-х издательством, возникшим на перепутье эмиграции. С началом нэпа и установлением отношений между Веймарской республикой и РСФСР в Берлине появилось много приезжих из России. Эмигрантские издательства печатали книги как эмигрантов, так и советских (по месту жительства) авторов (в «Геликоне» опубликованы Цветаева и Ремизов, Пастернак и Эренбург). Более того, часто советское правительство закупало книги для библиотек, школ и других учебных заведений в Берлине или размещало заказы в берлинских русскоязычных издательствах⁸. «Геликон» принадлежал А.Г. Вишняку, учредившему это издательство в Москве в 1918 году (отсюда и «Москва-Берлин» на титульном листе геликоновских книг). Вполне возможно, что Сувчинского познакомил с Вишняком Илья Эренбург, с которым Петр Петрович поддерживал дружеские отношения. Да и эстетический вкус владельца «Геликона» должен был импонировать Сувчинскому: он ценил авторов, печатавшихся в издательстве, а с некоторыми из них его связывала тесная дружба.

Однако не всегда евразийцы были готовы использовать чужие издательства. Периодически в их переписке возникают вопросы о том, насколько политическая ориентация того или иного издательства может «скомпрометировать» движение. Подобное обсуждение проводилось, например, по поводу издания сборника «Россия и латинство», когда Трубецкой в ответ на предложения Сувчинского об использовании издательств настаивает, что брать деньги у церковных организаций нельзя по политическим соображениям. В то же время Трубецкой со свойственным ему антисемитизмом требовал, чтобы евразийцы не пользовались услугами издательств, принадлежавших евреям⁹. В таких случаях в ход шли личные связи и велись поиски спонсоров и благотворителей, готовых пожертвовать средства на издание евразийских книг. Вопрос был для евразийцев очень важным, и недаром первое задание, поставленное перед присоединившимися к движению в 1922 году молодыми офицерами-монархистами из группы А.В. Меллер-Закомельского, состояло в нахождении средств для печатания «России и латинства».

Деньги были получены евразийцами от Меллера, который, по утверждению П.Н. Савицкого, в свою очередь, получал их от Лесли Уркварта, известного британского промышленника, надеявшегося выкупить права на Кыштымский медеплавильный завод (до революции владельцем завода был отец Меллера); затем Арапов, познакомившись с сест-

рой Меллера Еленой Владимировной Исаковой, проживавшей в Берлине, сумел найти у нее средства на выпуск книги¹⁰. Савицкий вспоминал, что Арапов, весьма популярный у женщин, часто использовал свои романы для добывания средств на евразийские издания. Затем А.В. Меллер-Закомельский предложил привлечь к финансированию евразийства Генри Клуза-младшего. Клуз был достаточно колоритной фигурой европейской богемы середины 1920-х годов. Сын знаменитого американского миллиардера, составившего себе состояние на финансировании правительства США во время Гражданской войны, Клуз-младший был художником и скульптором. Построив на развалинах средневекового замка под Каннами свой собственный замок, Клуз превратил его в место встречи художников, музыкантов и аристократов. Меллер получил пропуск в этот закрытый клуб благодаря баронскому титулу и музыкальным способностям. Клуз вначале согласился субсидировать евразийцев, но впоследствии, по словам Меллера, изменил свое решение. Он предложил евразийцам издать сборник статей в США, взявшись финансировать это издание. Сложно сказать, почему издание не состоялось: с одной стороны, Клуз мог опять изменить свое решение, с другой – евразийцы практически прекратили отношения с Меллером.

Разумеется, «находки», подобные араповским, не были частыми и не гарантировали того, что евразийцы смогут продолжать свою деятельность. Сувчинский жаловался Трубецкому в 1924 году, что средства евразийцев полностью исчерпаны. К этому примешивался и тот факт, что далеко не все участники движения имели стабильный доход. Трубецкой и Савицкий жили на профессорское жалованье и не пользовались общевразийской кассой, несмотря на частое безденежье. У Сувчинского не было постоянной службы, и, судя по его переписке с Трубецким, к 1924 году у него возникает проблема поиска средств к существованию (если Сувчинский и сумел вывезти какие-то средства из России, к 1924 году они, по всей видимости, были исчерпаны). Вероятно, учрежденное Араповым, Меллером, Савицким и Сувчинским в Берлине издательство под маркой Eurasia-Verlag, выпустившее в 1923 году третий евразийский «Временник», не приносило дохода, достаточного для выплаты жалованья его управляющему¹¹. Кроме того, если в начале 1920-х инфляция немецкой марки способствовала издательскому бизнесу, в середине 1920-х марка стабилизировалась, цены выросли, и русскоязычные издательства одно за другим начали сворачивать свою деятельность в немецкой столице. К началу 1924 года Сувчинский заговаривает о своем переезде в Париж, о чем советуется с Трубецким¹².

К этому времени евразийцы уже вступили в контакт с «Трестом», но его представители дали ясно понять, что финансовых вливаний оттуда евразийцы получать не смогут: более того, как мы увидим впоследствии, агенты ОГПУ сами с удовольствием будут получать деньги из бюджета евразийцев. Евразийцам помог случай, сделавший возможным удивительный размах всего евразийского предприятия во второй половине 1920-х годов. П.С. Арапов, который с 1922 года активно включился в евразийскую переписку и стал деятельным участником евразийских собраний, имел связи не только в окружении П.Н. Врангеля в Брюсселе, но и в Англии, в среде великосветской монархической эмиграции. Периодически он ездил в Лондон, где в доме князей Голицыных (Владимира Эммануиловича и Екатерины Георгиевны) проживала его мать, Д.П. Арапова. Там Арапов познакомился с полковником Петром Николаевичем Малевским-Малевичем, который был связан с Генри Норманом Сполдингом, британским филантропом, теологом и основателем кафедры по изучению восточного христианства в Оксфорде¹³. Кто именно был инициатором обращения к Сполдингу за деньгами на евразийские нужды, неизвестно. Мы знаем лишь, что в конце 1924 года Сполдинг выразил готовность передать определенную сумму на нужды нового христианского движения в среде русских эмигрантов. Малевский был дружен с семьей Сполдинга, причем эта дружба явно не зависела от политических взглядов Малевского и продолжа-

лась после распада евразийского движения. Именно в распоряжение Малевского Сполдинг и передал деньги.

Евразийцы были приятно ошеломлены, когда Арапов во время очередной поездки в Англию сообщил из Лондона о размерах взноса: Сполдинг пожертвовал на евразийство 10 тысяч фунтов стерлингов, причем впоследствии он спонсировал отдельные проекты евразийцев сверх этой суммы¹⁴. Можно оценить размеры этого пожертвования, сравнив его, например, как это сделал Дж. Смит, с бюджетом Лондонской школы славянских и восточноевропейских исследований: Бернард Пэре руководил этой школой, с большим штатом, арендой помещений и прочими расходами, на годовой грант в 7 тысяч фунтов¹⁵. Можно добавить, что в середине 1920-х обменный курс доллара и фунта колебался между 3,6 и 4,5 доллара за фунт. Трубецкой сообщал в 1924 году Сувчинскому, что его семья, состоявшая из четырех человек, а также няня превосходно жили на 60 долларов в месяц (очень «буржуйно», как выражался Трубецкой¹⁶). Разумеется, сумма, равная примерно 40 тысячам долларов, была очень внушительной. Отметим, что в 1925–1927 годах Сполдинг выделил на евразийство не менее 12 тысяч фунтов. Он также финансировал издание газеты «Евразия», а после распада движения оплатил долги евразийских издательств и субсидировал (правда, в значительно меньшем масштабе) деятельность группы Савицкого и бельгийских евразийцев, во главе которых стал племянник П.Н. Малевского-Малевица, Святослав Святославович Малевский-Малевич.

Любопытны мотивы Сполдинга, выделившего значительные средства на такое малоизвестное в Великобритании предприятие, как евразийство. Вполне возможно, что свою роль здесь сыграли рекомендации каких-то титулованных русских в Лондоне. Однако из писем самого Сполдинга Сувчинскому возникает впечатление, что он был очень слабо информирован (или неправильно информирован) о евразийстве и его русском контексте и принимал это движение за то, чем оно не являлось. Вот что писал Сполдинг 12 апреля 1928 года:... Успех евразийства представляется мне фактом чрезвычайной важности не только для России, но и для всего мира. В Индии, в Китае, в Японии, в некоторых исламских государствах поднимается секуляризованная и вестернизированная, фундаментально похожая на российскую интеллигенция: будет ли она следовать матушке России на пути к большевизму или евразийцам в их попытке построить государство на принципах Евангелия? На мой взгляд, это самый важный вопрос нашего столетия, и это привилегия – иметь возможность посодействовать, неважно в насколько малой степени, осуществлению таких целей...¹⁷

Вероятно, Сполдинг был посвящен в подпольные тайны евразийства, включая контакты последнего с «Трестом». Во всяком случае, в 1928 году Сполдинг упоминает евразийские «неудачи» 1927 года¹⁸. Возможно, Сполдингу, как и многим евразийцам, импонировала романтика «подполья». Он часто называл себя евразийцем (точнее, к огромному раздражению Святополк-Мирского, «европазийцем»), обсуждал с Сувчинским стратегию движения и даже написал небольшую книжку, суммирующую взгляды евразийства¹⁹. Впрочем, сам Сполдинг признавал, что был очень слабо подготовлен к такому предприятию, а книжку написал на основе разговоров с Араповым и Малевицем²⁰. Арапов иронически отзывался о способностях Сполдинга именно в связи с обсуждением этой публикации²¹.

Тем не менее деньги Сполдинга обеспечили стремительный рост числа евразийских публикаций вплоть до раскола 1928 года. С 1925 года, помимо ежегодных «Временников», носивших статус «официальных», начинает выходить «Евразийская хроника», предназначенная в основном для выступлений «младших» евразийцев или тех авторов, от которых

евразийцы пытались дистанцироваться. Стремление привлечь как можно более широкие слои эмиграции, превратить евразийство в массовую организацию отразилось в публикации брошюр, рассчитанных на неподготовленного читателя и освещавших отдельные положения евразийской доктрины (например, отношение к Красной армии, коммунизму и т. д.). Брошюра «Комплектование Красной Армии», автором которой был полковник Арсений Александрович Зайцов («Зон» или «Кролинский» в переписке евразийцев), вызвала в рядах евразийства активную полемику: Савицкий критиковал брошюру за ее просоветскую линию, тогда как Сувчинский стоял за нее горой. В 1925 году была издана целая серия оттисков работ отдельных авторов, публиковавшихся во «Временниках». В 1927 году публикуется первый более или менее профессиональный опыт евразийской истории – «Начертание русской истории» Г.В. Вернадского, вызвавшее неоднозначную реакцию как в эмиграции, так и в СССР²². В этом же году отдельной книжкой вышло переиздание работ Трубецкого. Начиная с осени 1928 года вышло 35 номеров газеты «Евразия», которая была в планах евразийцев уже в 1924 году.

Перед встречей со Сполдингом Арапов просил Трубецкого, Сувчинского и Савицкого предоставить примерный бюджет движения. Савицкий отреагировал на этот запрос подробным письмом, в котором описаны планы евразийцев и стоимость проектов. Савицкий предлагает просить средства, прежде всего, на поддержание контактов с «Трестом» и на продвижение евразийской литературы в Россию, на производство листовок и воззваний. На содержание представителей евразийства в Сибири, на Кавказе, в Туркестане, на Украине, в Ленинграде и двух представителей в Москве Савицкий планировал выделять по 12 фунтов в месяц, округлив их до 1150 фунтов в год. Бюджет включал три поездки в год из-за рубежа в Россию и обратно – 450 фунтов. Организационные расходы представительств евразийства в России оценивались в 1500 фунтов. Савицкий добавлял, что «этот расчет может почитаться достаточным только при условии самого широкого и полного использования аппарата Треста для передвижения и распределения товара». По всей видимости, средства на эти цели были потрачены: во всяком случае, контакты с «Трестом» носили регулярный характер, а Арапов и Савицкий неоднократно ездили в СССР. Ланговой-«Денисов», сотрудник ОГПУ, который якобы руководил «внутренним евразийством» в СССР, получал довольно значительное ежемесячное жалованье от евразийцев на протяжении нескольких лет.

Особый интерес представляет оценка Савицким издательского и организационного бюджета евразийцев в Европе, сделанная им по просьбе Арапова:

Два сборника (Времен, [ник] Кн. 4 и 5) считая по 2000 экземпляров 20 листов каждая книжка при стоимости печатания и оплаты листа вместе с гонорарами для приглашенных посторонних авторов по го ф[унтов] за лист, а следовательно на книжку по 200 ф[унтов]. Всего 400.

Издание, если можно так выразиться «неофициальной» энциклопедии», ряда отдельных в нефт. [яном] духе – по догматологии, историософии, теософии и социологии, всего для первого года 3 книги, около 60 листов, считая вместе с гонорарами по го ф[унтов] за лист, всего 600 ф[унтов].

Издание сборника (или единоличной книги) о нефти на английск. [ом], одном из индусских, французск. [ом], немецк. [ом] и татарском языках из расчета 5000 – 10 000 экз [емпляров] считая по 10–15 листов в книге и беря вместе с гонораром (очень широко) на книгу 300 ф[унтов], всего на пять книжек 1500 ф [унтов]

Издание книги для детей и юношества в особых отделах издательства («Евразийцы – детям», «Евраз.[ийцы] – молодежи»), писанных

первоклассными авторами при расчете 5 тыс[яч] экземпляров] по 15ф[унтов] лист до 100 листов – 1500 ф[унтов]

Организационные расходы издательства: содержание заведующего (П[етр] П[етрович Сувчинский]: 180 ф [унтов] в год) и служащих, его помощников (по 120–150 ф[унтов] в год на человека), наем помещения, создание аппарата по размножению не подлежащих печатанию [текстов], канцелярские почтовые расходы (подробная смета на обороте) 1500 [фунтов] в год.

Торговые поездки нефтяников для устройства филиалов, чтения лекций, и пр[очего] 500 ф[унтов]

Поездка П[етра]С[еменовича]А[рапова], Т[атьяны]Н[иколаевны]Р[одзянко] и Н[иколая] Сергеевича Т[рубецкого] в Америку для получения дальнейших средств – 1000 [фунтов]

Такой поездке я придавал бы огромное значение, важно сочетание именно трех названных лиц; такая поездка могла бы дать еще более крупные средства.

Итого 10 000 [фунтов]

Газета для своего начала требовала бы сверх указанных 10 000 еще приблизительно 20 000. На эту сумму газета могла бы просуществовать 2 года. К этому времени она должна достичь самоокупаемости. Расширение корреспондент. [ской] сети и первоклассное всестороннее осведомление в указанной выше сумме 20 000 ф [унтов] учтены.

Общий принцип дела – никаких личных окладов, все на непосредственную работу. Книгоиздательское дело возглавляет П[етр]П[етрович Сувчинский], получающий 15 ф [унтов] в месяц. Все прочие кормятся на подножном корму, кто где находится. Основное начало – аскетическое существование руководителей, и в то же время – полная финансовая обдуманность и целесообразность в отношении к внешнему миру. Относительно организации филиалов книгоиздательства в 6-7-8 зарубеж[ных] местах имею некоторые мысли – но это уже деталь, которую сообщу потом.

Вся смета в порядке осуществления может, конечно, подвергаться некоторым изменениям. В случае надобности осуществление плана можно будет растянуть на 2 года. Иностранские и другие наши издания обеспечат возобновления затраченных сумм к концу отчетного периода. Издательский план может быть представлен особо. Организацию сбыта придется реорганизовать заново.

Количество издаваемых экземпляров (2 и 5 тыс[яч]) очень мало, но особенно по детской литературе предвидятся многократные повторные издания удавшихся книг. 50-100 ф[унтов] может быть дано Эндену и Ставр[овскому] для их «листовок»

NB – Поскольку «руководители» имеют «пропитание» – они, как и другие, работают безокладно. Расходы по поездкам и пр. [очему] возмещаются по себестоимости. Еще раз скажу – никаких окладов!!!

[Приписано: «Нужно иметь в виду, что поскольку мы сможем обеспечить людей помещениями для работы, техническими приспособлениями для нее и в надлежащих случаях – проездными – мы можем мобилизовать на дело нашей торговли огромные, бесплатные силы

и молодежи, и даже отчасти старшего поколения (к настоящему моменту мы имеем некоторый „моральный авторитет“».)]

...Считаю сугубо правильным осуществить единство кассы. Все полученные средства немедленно переведите мне банковским переводом или чеком – я вступаю в обязанности казначея с твердой рукой²³.

Многие планы, которые предполагал осуществить Савицкий, не были реализованы. Так, не удалась амбициозная программа пропаганды евразийства среди «колониальных» народов; не состоялись евразийские публикации для детей и молодежи, несмотря на то что евразийцы обсуждали их достаточно подробно. На средства Сполдинга в 1928 году начала издаваться газета «Евразия», но именно она и стала поводом к расколу движения и его дискредитации.

В записке Савицкого интересен еще и личностный момент. Она написана тоном человека, ощущающего себя практически единоличным вождем. Вероятно, Сувчинский недаром жаловался Трубецкому на манию величия Савицкого – тон его письма не предполагает возражений: «единство» кассы должно осуществиться немедленно и именно так, как требует Савицкий. Не следует подозревать скрытую материальную заинтересованность Савицкого. У нас достаточно свидетельств того, что его образ жизни был достаточно скромным и что кассой евразийства для личного содержания он не пользовался (и настаивал на том, чтобы ею не пользовались другие). Однако его частые попытки монополизировать принятие решений, резкий тон, личное и социальное отчуждение от круга Сувчинского и Арапова были одним из источников будущего раскола евразийцев.

Вопрос об использовании полученных средств для выплаты окладов руководителям стал впоследствии одним из острых в отношениях между лидерами. Оклады Сувчинского и Арапова выросли до 25 фунтов в месяц, тогда как Савицкий получал на всю свою пражскую группу 15 фунтов. В результате Савицкий часто нуждался в деньгах, которые «парижане» выплачивали ему с большой неохотой. Трубецкой, в свою очередь, вынужден был неделями добиваться 10 фунтов от Малевского, которые были нужны ему на поездку в Прагу для встречи с коллегой-филологом Б.В. Томашевским.

Начиная со своего первого выступления в Софии летом 1921 года евразийцы вели активную пропаганду. Лекции, собрания, обсуждения и диспуты должны были привлекать эмигрантскую молодежь к новой идеологии. Постоянный евразийский семинар работал с 1924 года в Праге, где им руководил Савицкий. С 1925 года начинает работу и евразийский семинар в Париже во главе со все же присоединившимся к движению Л.П. Карсавиным. В Вене Трубецкой организовал для своих студентов семинар, на котором обсуждались евразийские темы. Участники публиковались в «Евразийской хронике», из них составлялись евразийские кадры. При этом нельзя преувеличивать количество людей, вовлеченных таким образом в евразийство. Согласно сохранившемуся в архиве Сувчинского списку, в 1926 году в евразийском клубе Парижа состояло не более 25 человек²⁴. Цифры сочувствующих евразийству в Праге (1000 человек), которые приводит в своем докладе руководству заместитель начальника Контрразведывательного отдела (КРО) ОГПУ В.А. Стырне, явно преувеличены и, скорее всего, связаны со стремлением сотрудника ОГПУ представить евразийство более влиятельным и опасным движением, чем это было на самом деле²⁵.

Евразийство и «Трест»

В евразийском движении – в его организационной и политической части – отчетливо выделяются три группы людей. Первую группу составляют интеллектуалы: четверка основателей движения и привлекавшиеся ими к сотрудничеству авторы, ученые, литераторы и

публицисты. Вторая группа – присоединившиеся к движению в 1922 году офицеры-монархисты, которые привели в евразийство людей из круга Врангеля и Кутепова. Наконец, третью группу составляют вольные или невольные агенты КРО ОГПУ, такие как Денисов (А.А. Ланговой), Ю.А. Артамонов, и эмигранты, которыми те манипулировали (например, С.Я. Эфрон, муж М.И. Цветаевой). Агенты ОГПУ проникают в движение около 1923 года, и под их влиянием евразийство становится не только политической организацией, но и подпольной сектой заговорщиков.

Прежде чем перейти к истории превращения евразийства в политическую подпольную организацию, необходимо коротко сказать о роли «Треста» в эмигрантской политике 1920-х годов²⁶. С начала 1922 и до весны 1927 года, когда Опперпут опубликовал свои разоблачения в рижской газете «Сегодня», «Трест» фигурировал в разговорах и переписке множества эмигрантов, огромное количество людей оказалось вовлечено в его орбиту, и евразийство не стало исключением. История «Треста» во многом остается запутанной: существуют лишь два основных источника, на основании которых можно судить о его деятельности, и оба источника, увы, не могут претендовать на полноту и объективность изложения. Первый источник – апологетический документальный роман Л. Никулина «Мертвая зыбь», изданный на волне хрущевской «оттепели» и ставивший своей целью реабилитацию репрессированных в 1930-х годах сотрудников ОГПУ, таких как Артузов, Ланговой, Пузицкий и т. д. Второй источник – воспоминания участника кутеповской организации, заместителя Артамонова, Сергея Львовича Войцеховского, который выполнял резидентские обязанности в Варшаве и, в свою очередь, пытался объяснить успех «Треста» психологическими условиями эмиграции. Войцеховский стремился также спасти репутацию таких людей, как Артамонов и Арапов, считая их не агентами, а лишь невольными исполнителями воли ОГПУ.

Операция «Трест» началась в конце 1921 года. Вопрос о том, что послужило причиной, вынудившей руководителей большевиков пойти на эту довольно значительную по затраченным ресурсам операцию, остается открытым. Советская Россия вступила весной 1921 года в период нэпа, и, немного отпустив рычаги контроля над страной, большевистские руководители, вероятно, почувствовали неустойчивость своей власти. В эмиграции находилось значительное количество бывших солдат и офицеров, там были руководители практически всех политических течений России, а большевистским лидерам был хорошо известен потенциал этих людей. Очевидно, большевики придавали проблеме эмигрантов гораздо большее значение, чем думают историки. В свою очередь, эмигранты, ожидавшие перерождения большевиков, с восторгом встретили известия о нэпе, посчитав его первым признаком такого перерождения. В большинстве случаев эмигранты слепо верили в то, что большевистский режим обречен, что внутри самой России появятся силы, которые уничтожат коммунистов. Только верой эмигрантов в необходимый характер изменения режима большевиков можно объяснить тот факт, что самые разные круги эмиграции, включая профессиональных разведчиков, раскрыли объятия представителям «Треста».

Все началось с того, что бывший преподаватель Александровского лицея, бывший директор Департамента водного транспорта Министерства внутренних дел и бывший действительный статский советник Александр Александрович Якушев (1876–1937) (фигурировавший под псевдонимом Федоров) отправился в зарубежную командировку в Ревель. Там он встретился со своим бывшим воспитанником Юрием Александровичем Артамоновым, который после окончания Лицея служил в Конногвардейском полку. В Ревеле Артамонов работал переводчиком в английском посольстве. Он был близок к группировке генерала Кутепова и дружил с Всеволодом Федоровичем Щелгачевым, который служил в разведке Врангеля. Якушев сообщил Артамонову, что в России существует подпольная монархическая организация – Монархическое объединение Центральной России (МОЦР), которое обладает широкими возможностями и связями, в том числе в партийном руководстве и среди

командиров РККА. МОЦР, по утверждению Якушева, возглавлялось Андреем Медардовичем Зайончковским, бывшим генералом царской службы. Якушев предлагал Артамонову установить контакт с заинтересованными лицами и организациями в эмиграции (на условиях подчинения МОЦР) и содействовать работе по подготовке переворота в Советской России. Сразу же после этого Артамонов написал о Якушове письмо в Берлин своему другу и сослуживцу князю К.А. Ширинскому-Шихматову, отец которого был членом ультраконсервативного Высшего монархического совета. Это письмо попало в руки ЧК, и по возвращении в Россию Якушев был арестован и якобы перевербован. Остается загадкой, действительно ли Якушев до ареста был участником монархической организации и существовала ли такая вообще, или он с самого начала был агентом ЧК. В достаточно циничных воспоминаниях престарелого чекиста Б.И. Гудзя о вербовке Якушева говорится: «...не будем забывать, что у него была семья, и он понимал, что может быть серьезно наказан за свою авантюру... Так что в конце концов он согласился с нашим предложением. С этого дело и завязалось»²⁷. Учитывая развязанный ЧК террор, не представляется невероятным, что Якушев уже перед первым своим выездом за границу был завербован чекистами. Во всяком случае, после возвращения он стал работать на ЧК-ОГПУ и, согласно многим источникам, делал это очень умело.

При посредстве Артамонова, Щелгачева и сослуживца Артамонова по Конногвардейскому полку П.С. Арапова (активного евразийца с 1922 года) Якушев встретился с представителями Высшего монархического совета в Германии, а также установил контакт с близким к великому князю Николаю Николаевичу генералом А.П. Кутеповым, возглавившим боевую организацию РОВСа. Кутепов направил в Советскую Россию своих резидентов – Марию Владиславовну Захарченко (урожденную Лысову, впоследствии Михно) и ее гражданского мужа, ротмистра Георгия Радкевича. Благодаря тому, что в кодировавшейся переписке «Треста» Радкевич и Захарченко выступали как «племянники», в литературу о «Тресте» проникло неверное утверждение, что Захарченко была родственницей генерала Кутепова. К 1924 году произошло объединение кутеповской боевой организации и «Треста». Переписка, пересылка литературы и секретные поездки в обе стороны велись через перевалочные пункты в Польше и Эстонии. Резидентом Кутепова и «Треста» в Варшаве стал Ю.А. Артамонов. Разведки и Генштабы Польши, Эстонии и Финляндии поддерживали активные контакты с «Трестом», через который руководство Советской России не только контролировало значительную часть белоэмиграции, но и дезинформировало западные спецслужбы.

К 1925–1926 годам «Трест» установил контакты с самыми разными кругами эмиграции. Якушев побывал в Шуаньи у великого князя Николая Николаевича и получил согласие на использование его имени. После Зарубежного съезда 1926 года даже П.Б. Струве – убежденный противник большевиков и сторонник продолжения вооруженной борьбы с ними – встретился с представителем «Треста» в Варшаве и обсудил возможность получения этой организацией крупных финансовых вливаний из зарубежных источников.

«Трест» рухнул весной 1927 года. Кутепов настаивал на террористических акциях, которые «Трест» активно пытался предотвратить. Полученные при помощи «Треста» секретные документы, в частности, мобилизационные планы, вызвали подозрения у поляков. Наконец, весной 1927 года один из главных участников «Треста», Эдуард Оттович Уппелиньш, известный также как Опперпут, Стауниц и Касаткин, бежал из Советской России и опубликовал разоблачительные статьи, в которых раскрыл истинную природу «Треста», и убедил Кутепова в том, что он желает искупить свою вину и привезти в СССР группу боевиков. Отправленная группа не смогла совершить планировавшийся теракт и была уничтожена под Смоленском, а Опперпут-Касаткин был объявлен ОГПУ мертвым. Впрочем, Сергей Войцеховский утверждал, что встречался в 1942 году с Опперпутом в Варшаве. По версии Войцеховского, Опперпут был не перебежчиком, а умелым двойным агентом. Как

писал Войцеховский, Опперпут, возглавлявший советское подполье в Киеве, был арестован немцами в 1944 году и расстрелян²⁸.

Каково же было отношение евразийцев к «Тресту»? Прежде всего, сам факт его появления вполне укладывался в идеологические построения евразийцев. Согласно их теории революции, в России должен был появиться новый слой людей, которые захватят власть в ней изнутри. Задача состояла лишь в том, чтобы обратить этих людей в евразийскую веру. Однако появившиеся в Западной Европе посланцы «Треста», вступившие в 1923 году в контакт с Сувчинским при посредстве Арапова, не вызвали восторга у руководителей евразийского движения. Поскольку главной целью «Треста» было проникновение в круги военной эмиграции, которые были в основном настроены монархически, «трестовцы» активно проповедовали монархизм. Для евразийцев монархизм был слишком тесно связан с правыми кругами эмиграции, которых евразийцы обвиняли в непонимании необратимости тех процессов, которые произошли в России. Но самое главное, представители «Треста» сообщили евразийцам, что для большинства населения России религия утратила свою привлекательность, а следовательно, евразийская программа должна быть существенно изменена, чтобы не показаться реакционной гражданам СССР. Для евразийцев, у которых православная религиозность составляла одну из важнейших черт групповой идентичности, такое объяснение было неприемлемым, и интерес к «Тресту», казалось, был навсегда ими утрачен.

Однако в этот момент Арапов встретился в Варшаве с «нефтяником» («нефть» – одно из кодовых названий евразийства) – участником «Треста», выступавшим под псевдонимом Александра Алексеевича Денисова. На самом деле Денисов был сотрудником ОГПУ (с 1935 года – полковником НКВД) Александром Алексеевичем Ланговым (1895–1964). Ланговой принадлежал к известной интеллигентской семье – его отец, Алексей Павлович, знаменитый московский врач, был гласным Московской городской думы, коллекционером живописи и членом попечительского совета Третьяковской галереи, а дядя – профессором Технологического института в Петербурге. Ланговой был, несомненно, культурным человеком, свободно владел несколькими языками, разбирался в современном искусстве, литературе и философии. Для евразийцев он должен был казаться человеком «своего круга». Выступая как один из представителей «Треста», Ланговой убедил евразийцев в том, что он полностью обратился в евразийскую веру и готов представлять интересы евразийцев внутри своей организации. Евразийцы с радостью воспользовались этим предложением: на совещании руководителей евразийства с участием Лангового, которое прошло в начале 1925 года в Париже на квартире А.И. Гучкова, было решено обращать «Трест» в евразийство изнутри, а Ланговой-«Денисов» стал руководителем «Евразийской партии» в СССР и участвовал в евразийских съездах и совещаниях. Более того, на протяжении нескольких лет Ланговой получал от евразийцев значительное содержание. Объявил себя евразийцем и Ю.А. Артамонов, резидент Кутепова и «Треста» в Варшаве и сослуживец Арапова. В течение полутора лет Ланговому удавалось держать евразийцев в заблуждении, причем размах этого предприятия был весьма значительным: Арапов и Савицкий ездили в СССР и встречались с «внутренними евразийцами» в Москве и других советских городах. В СССР шел поток евразийской литературы (вероятно, она прямоком попадала в хранилища ОГПУ), а из СССР приходили «информационные бюллетени», посвящавшие евразийцев в подробности тех или иных событий советской жизни, сообщавшие о настроениях населения, состоянии хозяйства и т. д.

Безусловно, проникновение «Треста» в евразийское движение оказало значительное воздействие на развитие евразийства. Так, в 1924 году Арапов требовал у Сувчинского ускорить написание евразийской политической программы, поскольку это могло облегчить переговоры евразийцев с «Трестом»²⁹. Трестовские «бюллетени» о состоянии Советской России во многом формировали представления участников евразийского движения о происходивших в СССР процессах. Очевидно, что контакты с провокационной организацией приобре-

тали все более широкий размах; на съездах руководителей Совета евразийства – главного органа трансформировавшегося в подпольную организацию интеллектуального движения – присутствовали агенты ОГПУ, с которыми обсуждались тактика и стратегия евразийского движения. Как сообщал своему руководству Стырне, проникновение «Треста» в евразийство достигло таких размеров, что отдельные ведущие евразийцы «выполняют любое наше поручение»³⁰, а в руководящие органы евразийства были введены агенты КРО ОГПУ (под видом представителей «Треста»),

Начиная с 1924 года в евразийской переписке появляется шифровка писем. Политический и шпионский жаргон начинает напоминать детективные романы, а наивность евразийских руководителей, игравших в политику, поражает. Даже закодированные, отрывочные письма евразийцев позволяют составить представление о том, какие интересы преследовали агенты ОГПУ, проникшие в евразийство. Арапов просит Сувчинского составить некую программу евразийства для своих московских знакомых в музыкальных кругах, с тем чтобы передать ее по указанным Сувчинским адресам через «Трест». Арапов утверждал, что с такой идеей выступил «Денисов» – чекист Ланговой³¹. Можно предположить, что судьба адресатов Сувчинского сложилась трагически: связь с евразийством была одним из оснований для ареста и заключения даже таких далеких от политики людей, как известный лингвист Н.Н. Дурново, который вернулся в Советский Союз и стал жертвой «дела славистов». Арестованный в 1932 году Дурново был расстрелян в 1937-м³².

В Ленинград был отправлен Г.Н. Мукалов, сотрудник Савицкого по пражской группе евразийцев. Как вспоминал Савицкий, Мукалов прервал сношения с евразийцами и остался в Ленинграде, где его и застали события весны 1927 года (раскрытие «Треста»). До поездки в Ленинград Мукалова в Москву в качестве резидента должен был отправиться Л.Е. Копецкий, еще один «молодой» пражский евразиец, но он не смог преодолеть себя и отказался от поездки прямо на границе. Пиком сотрудничества евразийцев с «Трестом» стала поездка Савицкого в Москву по каналам «Треста» для встречи с «московскими евразийцами». По свидетельству Войцеховского, он встретил Савицкого в Варшаве за несколько часов до отъезда на советскую границу³³. В Москве Савицкий наблюдал искусно поставленный сотрудниками ОГПУ спектакль, который включал не только встречи с членами «евразийских групп», но даже подпольную церковную службу! Именно в Москве он написал евразийскую программу 1927 года. Даже после раскрытия «Треста» евразийцы верили, что организация была подлинной, несмотря на предательство некоторых ее участников, и еще в 1928 году Сувчинский пытался восстановить контакт с Ланговым-«Денисовым», что вполне вписывалось в его программу по переносу деятельности евразийства в СССР и полному признанию советского режима.

Евразийство как организация

Примерно с 1922 года, когда к евразийцам присоединились А.В. Меллер-Закомельский, П.С. Арапов и другие монархисты, евразийство начинает превращаться в политическую организацию. Начало организационной работе евразийцев положили свидания «трех П» – Арапова, Савицкого и Сувчинского, прошедшие в Берлине поздним летом и осенью 1923 года. На этих совещаниях были выработаны принципы организации евразийства, его тактика. Согласно предложениям Сувчинского, евразийцам следовало, вполне в духе их саморепрезентации как нового поколения, отказаться от обращения «евразийствующих профессоров», всячески подчеркивать различия с другими группами эмиграции. Предполагалось, что движение должно развернуть активную работу по привлечению эмигрантской молодежи. Впоследствии, в 1925 году, контакты с «Трестом» решено было использовать

для трансформации самого «Треста» в евразийскую организацию, в частности, через «Денисова»-Лангового. В конце ноября – первой половине декабря 1924 года в Вене прошел съезд ведущих руководителей евразийства (Арапов, Савицкий, Сувчинский, Трубецкой), на котором был создан Совет евразийства, или Совет Пяти, в который вошли Трубецкой (председатель), Сувчинский, Савицкий, Арапов и Малевский-Малевич. Последний был приглашен на съезд и введен в состав Совета исключительно благодаря тому, что именно ему Сполдинг передал средства для движения.

На этом совещании евразийцы утвердили смету на первый год в размере 4500 фунтов (деньги Сполдинга было решено использовать в течение двух лет). Были выделены средства для поддержки ячеек евразийской организации в Париже и Праге, а Малевичу было предписано три раза в год отчитываться перед Советом о состоянии кассы. Совет постановил считать центром евразийства парижскую группу, возглавлявшуюся Сувчинским, а наиболее важными ячейками – Париж, Прагу и Варшаву. Было решено отправить в Россию по каналам «Треста» Т.Н. Мукалова. Наконец, Совет Пяти должен был законспирироваться и пользоваться при переписке псевдонимами и кодовыми названиями³⁴. Примечательно, что кодовые имена, которые придумали для этого евразийцы, совпадали с кодовыми именами, использовавшимися в переписке «Треста» с кутеповской организацией, что говорит о существовании некоей большой сети, в которую евразийцы входили как составная часть. Общий для всей сети код позволял ОГПУ без излишних затрат времени и сил контролировать поток информации.

В 1925–1927 годах параллельно Совету Пяти действовал и Совет Семи: те же пятеро плюс Артамонов и Денисов, представители «Треста». Впоследствии вместо Лангового-«Денисова» в Совет был введен Л.П. Карсавин. По позднейшему свидетельству Савицкого, Совет Семи был создан параллельно Совету евразийства, так как евразийцы не очень доверяли Артамонову и Денисову и не знали, на кого они работают. Однако в 1926 году сам Савицкий жаловался Арапову на Малевича, «навязавшего нам выключение Артамонова и Денисова»³⁵. Вполне возможно, что это было связано с периодом «активизма» Савицкого, когда он пропагандировал усиление подпольной работы в СССР и противостоял влиянию «белогвардейцев» – Малевского-Малевича и Зайцова – на евразийство.

Кроме того, в евразийской организации появились два отдела. Первый отдел, в который входили «идеологи», должен был играть ведущую роль в определении стратегии движения и отвечать за публикации евразийства. Вторым отделом, в котором состояли Арапов и Малевский-Малевич, считался «организационным», занимался финансами и политической организацией, контактами с «Трестом» и переправкой евразийской литературы в СССР по его каналам. В этот же отдел Малевский ввел и монархиста – близкого к А.П. Кутепову полковника А.А. Зайцова. Примечательно, что Зайцов не только участвовал в евразийском движении, организовывая для него боевые отряды, но и руководил перепиской с «Трестом» в кутеповской организации. Привлечение в движение новых людей, в основном связанных с Кутеповым монархистов, не только способствовало фашизации движения, но и привело к многочисленным конфликтам и трениям среди евразийцев. Так, в 1926 году Савицкий, Сувчинский и Трубецкой при поддержке Арапова вывели из состава движения Зайцова и существенно ограничили полномочия Малевского, который стал активно вмешиваться в «идеологическую» работу. Однако краткосрочный союз «тройки» не выдержал дальнейших испытаний, и проявлявшаяся уже с 1924 года вражда между Сувчинским и Савицким привела в конце концов к расколу.

Раскол

Попытки установить связь с Советской Россией не ограничивались аферой «Треста». После его раскрытия Сувчинский и Карсавин пытались наладить контакт с советским представительством во Франции. В 1927 году состоялись встречи и переговоры Сувчинского с Г.Л. Пятаковым, о чем Сувчинский сообщал Трубецкому. Сувчинский вынашивал планы превращения евразийства в орган той или иной оппозиционной группы в СССР (например, правой оппозиции), создания из евразийства «лаборатории мысли» для советских оппозиционеров. Не нужно объяснять, что вряд ли советские бонзы, были они оппозиционерами или верными сталинцами, нуждались в такой лаборатории. Даже когда Сувчинский и Святополк-Мирский установили контакт с Горьким и предложили ему издание просоветского журнала в эмиграции, Сталин, которому Горький сообщил об этом проекте, не отреагировал на предложение.

Стремительное полевание парижской группы евразийцев можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, разоблачение «Треста» показало, что наличие антибольшевистского подполья, способного выйти на связь с эмиграцией, – миф. Это стало, несомненно, психологическим ударом для евразийцев, которые верили в скорую возможность трансформации режима в России. Во-вторых, усиление Советского Союза в международных отношениях, его казавшаяся непреодолимой сила развития убеждали евразийцев в том, что большевики сумели распознать национальные основания страны и отразить их в своей политике. Наконец, с усилением Советского Союза борьба против него казалась все более бессмысленной, его успешная история воспринималась как вполне реальная альтернатива все более глубокому кризису западного мира. Большинство левых евразийцев, по выражению Трубецкого, были «заворожены» марксизмом. Умелая работа советских спецслужб, которые продолжали разными способами манипулировать движением, способствовала тому, что евразийцы стремительно двигались к расколу.

Публикуемые письма Трубецкого Сувчинскому позволяют в достаточной степени проследить динамику развития отношений между тремя лидерами движения. Зародившаяся с осени 1924 года неприязнь Сувчинского к Савицкому не исчезла, добавив личное измерение к идеологическим расхождениям, а все попытки Трубецкого примирить их ни к чему не привели. Возможно, евразийство просуществовало бы еще какое-то время, если бы не газета «Евразия», которую Сувчинский быстро превратил в орган советской пропаганды.

Осенью 1928 года Савицкий, подозревая, что Сувчинский может увести газету влево, направил в Париж группу своих сотрудников-«пражан», в которую входили П.И. Дунаев, К.А. Чхеидзе и А.Г. Романицкий. Задачей этого «десанта» было участие в подготовке издания газеты (Чхеидзе был ее официальным редактором, совместно с «парижанами» С.Я. Эфроном и К.Б. Родзевичем). Помимо этого, они должны были сообщать Савицкому о состоянии дел в парижской организации, что они и делали, еженедельно отправляя Савицкому подробные отчеты. В этих отчетах пражские евразийцы жаловались на то, что в разговорах о газете с представителями парижской группы они не узнают евразийских идей, что парижская группа стала «марксоидной». В ответ Сувчинский жаловался на Дунаева, которого «парижане» обвинили в алкоголизме, на Чхеидзе, которого в письме Трубецкому Сувчинский охарактеризовал как «серость», и на Романицкого, которого он считал «белогвардейцем». В результате обмена резкостями между Савицким и Сувчинским их совместная деятельность стала невозможной. Несмотря на многочисленные просьбы Трубецкого отложить издание газеты до съезда руководителей евразийства, первый номер все же был выпущен в ноябре 1928 года. Трубецкой разослал руководителям евразийства свои предложения по организованному разделению движения, со сменой названия. Тем не менее съезд не

состоялся, а Сувчинский продолжал издавать газету, считая свою позицию единственно верной. Его горячо поддерживали Карсавин и Святополк-Мирский, а также – отчасти – Арапов.

В начале 1929 года Савицкий прибыл в Париж и 17 января встретился с Сувчинским и Карсавиным. Вот текст «меморандума», который Савицкий представил на это совещание и разослал всем сторонникам евразийства:

Направление газеты «Евразия» считаю *отходом от евразийства*. В констатирование того, что это не есть евразийство, мнение мое совпадает с мнением огромного большинства евразийцев. Оно совпадает также с мнением б. [ывшего] Председателя Евразийского Совета, одного из создателей евразийской системы Н.С. Трубецкого (см. его письмо в н.[омере] 7-ом газ.[еты] Евразия). Значение выхода из газеты Евразия Н.С. Трубецкого, едва ли не крупнейшего автора евразийской системы, не может быть преуменьшаемо. Проведение под заголовком Евразии и от имени, якобы, всего евразийства существенно неевразийских взглядов создает совершенно особое состояние. Оно равнозначно положению, когда отдаются приказы «противные закону и совести».

Единственным выходом из положения считаю:

1. Немедленное преобразование газеты в евразийском духе.
2. Немедленную же передачу средств, выданных казначеем на издание газеты, на совместный текущий счет трех находящихся в Париже и здоровых членов Совета, т. е. Л.П. Карсавина, П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского. Чеки по этом счету должны выписываться за *совместною* же подписью названных трех лиц. Эта мера направлена к предотвращению на будущее недопустимого порядка ведения газеты. Я подразумеваю порядок, который фактически соответствует захвату печатного станка отдельными членами редакционной коллегии, при решительном несогласии других на подобного рода акты.

3. В случае неисполнения этих мероприятий, неевразийский характер газеты Евразия нужно будет считать *утвердившимся*. И отпадение от евразийства лиц, проводящих неевразийскую и антиевразийскую линию газеты Евразия, – на долго ли, на коротко ли, нужно будет считать *состоявшимся*.

Член Евразийского Политбюро и Евразийского Совета П.Н. Савицкий.

В свою очередь, Сувчинский и Карсавин составили протокол этого свидания:

Заседание Евразийского Совета 17 января 1929 Протокол

Присутствовали: Л.П. Карсавин, П.П. Сувчинский, П.Н. Савицкий

1. Постановления этого Совета могут вступить в силу только по утверждении их отсутствующими членами Совета Ю.А. Артамоновым, П.С. Араповым, П.Н. Малевским-Малевичем.

2. П.Н. Савицкий огласил свой меморандум о газете Евразия.

3. Ввиду того, что П[етр] Николаевич С[авицкий], определяя действия П[етра] П[етровича] С[увчинского] в ноябре и впоследствии, как «недопустимые и противоречащие его пониманию нравственного начала», не пожелал взять эти слова обратно, несмотря на попытки Л [ьва] Платоновича К[арсавина] найти пути к примирению и указание его же, Л [ьва] П[латоновича] К[арсавина], на недоказанность и субъективность утверждаемого, дальнейшее общение в Совете Л [ьва] П[латоновича]

К[арсавина], П[етра] Николаевича] С[авицкого] и П[етра] П[етровича] С[увчинского] признано всеми тремя невозможным.

4. П.П. Сувчинский заявляет, что высказанные П[етра] Николаевича] С[авицкого] обвинения не доказаны, и что он видит в высказывании их попытку утвердить идеологическое расхождение созданием личного конфликта и опорочиванием его, П[етра] П[етровича] С[увчинского].

5. П[етр] Николаевич] С[авицкий] заявляет, что готов возобновить общение с Л[ьвом] П[латоновичем] К[арсавиным] и П[етром] П[етровичем] С[увчинским] на деловой почве в течение ближайших двух дней на основании представленного меморандума.

6. Л[ев] П[латонович] К[арсавин] заявляет, что считает высказанное П[етром] Николаевичем] С[авицким] личным оскорблением и П[етру] П[етровичу] С[увчинскому] и ему лично, и что до принесения П[етром] Николаевичем] С[авицким] извинения и отказа от своих слов никакое его общение с ним даже на деловой почве невозможно.

7. П[етр] Николаевич] С[авицкий] заявляет, что не имел никакого намерения задеть Л[ьва] П[латоновича] К[арсавина].

Подписано Л[ев] П[латонович] К[арсавин]³⁶

Вернувшись в Париж, Савицкий сообщил Сполдингу о деятельности газеты «Евразия» и о содержании ее статей, и финансирование было прекращено: все, чего группа Сувчинского смогла добиться, – частичное погашение долгов газеты (часть их заплатил из своих средств Святополк-Мирский). В возникшем между руководителями евразийства противостоянии Сполдинг принял сторону Савицкого, который и привлек его внимание к просоветской позиции этой газеты. Савицкий переслал Сполдингу издание, указав самые проблематичные статьи, и Сполдинг заказал перевод этих статей. «Изучив эти переводы самым тщательным образом», Сполдинг сообщил Сувчинскому, что категорически не приемлет то, каким образом проводится в газете евразийская линия, и выразил недоумение тем, что Сувчинский прославляет в своих статьях СССР, пытается связать евразийство с марксизмом и философией Федорова³⁷. Прекратилось финансирование Сполдингом и парижской группы, о чем помощник Савицкого Чхеидзе сообщал Г.В. Вернадскому:

...Не могу не поделиться с Вами некоторыми новостями. На днях получено из Англии известие, где сообщается о том, что газета «Евразия» и вообще вся акция П.П. Сувчинского лишается материальной поддержки. Можно ожидать, что газета, наконец-то, лопнет! Это сообщение не означает, что приток средств пойдет по нашему руслу, но уже хорошо то, что мерзость клямарская лишается почвы...³⁸

В июне 1929 года Савицкий учредил Распорядительный комитет, в который вошел он сам, Н.Н. Алексеев и Н.А. Клепинин. Евразийское книгоиздательство было восстановлено, Сувчинский и его группа объявлены еретиками. В это время Арапов, судя по некоторым данным, был сильно болен, а Малевский-Малевич находился в США. В 1931 году Савицкий провел евразийский съезд в Брюсселе и продолжил выпуск евразийских сборников и временников. Однако евразийство в том виде, в котором оно существовало в 1920-х годах, на историческую сцену уже не вернулось.

Распад движения в 1928–1929 годах позволил тем из евразийцев, которые пошли по пути признания советского режима и сотрудничества с ним, полностью ассоциировать себя с советской Россией. Клепинины, Эфрон и Родзевич стали агентами ОГПУ и проводили в Европе тайные операции советских спецслужб. После одной из таких операций – убийства

советского перебежчика Порецкого-Рейс-са – Клепининым и Эфрону пришлось бежать в СССР. Когда туда вернулась Марина Цветаева, две семьи делили одну дачу в Болшеве, где большинство членов этих семей и было арестовано. Родзевич воевал в Испании, участвовал в Сопротивлении, побывал в нацистском концлагере. Святополк-Мирский, державший в своем кабинете в Лондонской школе славянских и восточноевропейских исследований портрет Сталина напротив карты мира так, что «отец народов» взирал на континенты, вступил в компартию Великобритании, а в 1934 году вернулся в СССР, где и погиб в лагерях.

Существует мнение, что «классическое» евразийство, представленное «учеными» – Савицким и Трубецким, – не участвовало или только в малой степени участвовало в политической аванюре евразийцев, ответственность за которую якобы нес Сувчинский и левая парижская группа. Несмотря на то что Трубецкой действительно время от времени поднимал вопрос об излишней политизации движения, нет никаких оснований утверждать, что у евразийцев не было внутреннего консенсуса по поводу политической составляющей их работы. Сохранившиеся в архивах евразийцев в Москве, Праге, Париже и Нью-Йорке документы в полной мере демонстрируют ложность такой посылки и доказывают, что для авторов евразийской концепции ее реализация в политической сфере была значимой и важной частью их деятельности, как бы ни раскаивались они впоследствии в том, что их движение приняло это направление.

Примечания

1

Начало

1 Нольде Б.Э. Заграничная Россия // Последние известия. 1920. 27 апреля.

2 В письме родным, датированном 4 июня 1921 г., П.Н. Савицкий писал: «...Вчера евразийцы делали первое публичное свое выступление – под эгидой здешнего религиозно-философского кружка. Было человек 40–50. Я не выступал, говорили Трубецкой и Флоровский, новых adeptов мы, кажется, не приобрели...» (ГАРФ. Ф. Р-5783. Оп. 2. Д. 326. Л. 32–33).

3 О «Веймарской России» см.: *Hanson S.E., Kopstein J.S.* The Weimar/ Russia Comparison // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 13 (1997). № 2. P. 252–283; *Shenfield S.* The Weimar/ Russia Comparison: Reflections on Hanson and Kopstein // *Ibid.* Vol. 14 (1998). № 4. P. 355–368; *Kopstein J.S., Hanson S.E.* Paths to Uncivil Societies and Anti-Liberal States: A Reply to Shenfield // *Ibid.* P. 369–375. См. также: *Brubaker R.* Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. N.Y.: Cambridge Univ. Press, 1996. P. 107–147. О возрождении евразийства см.: *Ignatow A.* Der “Eurasismus” und die Suche nach einer neuen russischen Kulturidentität. Die Neubelebung des “Evrazijstvo”-Mythos // *BlOst* (Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und internationale Studien): Berichte. 1992. № 15.

4 Советский взгляд на историю пореволюционной эмиграции представлен в работах: *Шкаренков Л.К.* Агония белой эмиграции. М.: Мысль, 1981; *Кожин В.В.* Политический и идеологический крах русской мелкобуржуазной контрреволюции за рубежом. Калинин: Калининский гос. ун-т, 1977.

5 Как показывает название статьи Роберта Вильямса «Политические эмиграции: утраченный сюжет» (*Ab Imperio*: Теория и история национализма и империи в постсоветском пространстве. 2003. № 2. С. 21–35), политические эмиграции были в некотором смысле «утрачены» историей, фокусировавшейся на «больших структурах»; «история снизу», в свою очередь, мало интересовалась политическими эмиграциями, в которых главными героями были пусть и бывшие, но все же элиты. Исключением можно считать работы по истории политической эмиграции, инкорпорирующие новые методы исследований, например: *L’Emigration Politique en Europe aux XIX^e et XX^e siecles: Actes du colloque organise par L’Ecole française de Rome*. Rome: Ecole française de Rome, 1991. Российской эмиграции посвящены некоторые западные работы: *Der Große Exodus: Die Russische Emigration und ihre Zentren, 1917bis 1941* / Hrsg. von K. Schlögel. München: C.H. Beck, 1994; *Williams R.C.* Culture in Exile, Russian Emigres In Germany, 1881–1941. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press, 1972; *Gorboff M.* La Russie fantome: L’emigration russe de 1920 a 1950. Lausanne: L’Âge d’homme, 1995; *Johnston R.H.* New Mecca, New Babylon: Paris and the Russian Exiles, 1920–1945. Kingston: McGill-Queen’s Univ. Press, 1988. Первые работы по истории российской эмиграции были написаны современниками: *Rimscha H. von.* Der russische Bürgerkrieg und die russische Emigration, 1917–1921. Jena: Frommann, 1924; *Idem.* Russland jenseits der Grenzen, 1921–1926: ein Beitrag zur Russischen Nachkriegsgeschichte. Jena: Frommann, 1927; *Ledre Ch.* Les emigres russes en France: Ce qu’ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils pensent. Paris: Editions Spes, 1930.

6 Немаловажно и то, что в России в оборот вводится, прежде всего, некое «православно-национальное» наследие эмиграции, что создает неверное представление о ее однородности.

7 См., в частности: *Liebich A.* From the Other Shore: Russian Social Democracy after 1921. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997; *Raeff M.* Russia Abroad: Cultural History Of Russian Emigration, 1919–1939. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1990; *Burbank J.* Intelligentsia and Revolution: Russian Views of Bolshevism, 1917–1922. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1986; *Pipes R.* Struve: Liberal on the Right, 1905–1944. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1980; *Rosenberg W.G.* Liberals in the Russian Revolution: The Constitutional Democratic Party, 1917–1921. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1974.

8 Существует представление о политической эмиграции до 1917 г. как «лаборатории политической мысли» (см.: Русская эмиграция до 1917 года – лаборатория либеральной и революционной мысли / Под ред. Б. Ананьича, Ю. Шерпер. СПб., 1997).

9 Об этой цели эмиграции см. подробно: *Raeff M.* Op. cit.; *Struve N.* Soixante-dix ans d'emigration russe, 1919–1989. Paris: Fayard, 1996; *Ковалевский П.Е.* Зарубежная Россия: История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920–1970). Paris: Librairie Des Cinq Continents, 1971. Впервые об этом написал барон Нольде (см.: *Нольде Б.Э.* Указ. соч.). Он считал, что «небольшевистская Россия не имеет территории (как Бельгия во время Первой мировой)»: «Мы существуем как Россия, потому что в условиях свободного европейского общежития мы сохранили свободу служить нашей Родине и нести в нашем сознании ее великую идею. Из России ушла не маленькая кучка людей, а весь цвет страны... Это уже не эмиграция русских, а эмиграция России... Мы должны беречь себя от того, что зовут „эмигрантской психологией“... Мы должны жить родной стихией, нести и углублять наше национальное сознание, радуясь тому, что мы – единственная часть России, которой дано свободно думать и свободно высказывать свои мысли. В чем наше дело?... В той новой России, которую мы готовим, годится не все, что мы несли с собой, когда наступал 1917 г... Мы должны суметь извлечь новые программы и новое понимание наших задач... из трезвой и спокойной оценки свершившегося. Нельзя ни на минуту забывать, что мы вернемся только тогда, когда выкуем в нашем сознании будущую Россию. Россия великого исхода должна быть не вчерашней, а завтрашней Россией...» Несмотря на то что «возвращения» эмигрантского наследия в серьезную науку не произошло, можно найти определенное влияние эмиграции на исследования истории России в англоязычном мире. Так, М.М. Карпович представлял «кадетский» взгляд, Ричард Пайпс транслировал консервативный подход П.Б. Струве, а Леопольд Хеймсон – социал-демократические взгляды меньшевиков. Таким образом, в американской историографии России имплицитно учитывались различные идеологические подходы, присутствовавшие в среде российской эмиграции (за исключением ультраправой, монархической ее части). К этому можно добавить, что Г.В. Вернадский отчасти может считаться продолжателем евразийства, впрочем, плохо прижившегося на американской почве.

10 См. публикуемое в настоящем томе письмо Трубецкого Сувчинскому от 28 апреля 1926 г. (№ 78).

11 О евразийстве в контексте правых движений в Германии см.: *Luks L.* Die Ideologie der Eurasier im zeitgeschichtlichen Zusammenhang // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Bd. 34 (1986). S. 374–395.

12 Термин «реакционный модернизм» принадлежит американскому исследователю консервативной революции в Германии Херфу (см.: *Herf J.* Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich. N.Y.: Cambridge Univ. Press, 1984). Он считает, что консервативное движение, развивавшееся в 1920-х гг. в Веймарской Германии, модернизировало романтические идеологии XIX в. за счет апроприации современной науки, техники и технологий.

2

Действующие лица

1 Далеко не полный список работ (в хронологическом порядке), содержащих биографический материал о Н.С. Трубецком: *Чижевский Д.* Князь Николай Трубецкой // Современные записки. 1939. Кн. 68. С. 445–467; *Kretschmer P.* Nikolaus Fürst Trubetzkoy // Almanach der Akademie der Wissenschaften in Wien für das Jahr 1938. Bd. 88 (1939). S. 335–345; *Riasanovsky N.V.* Prince N.S. Trubetskoy's "Europe and Mankind" // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd. 12 (1964). H. 2. S. 207–220; *Wytrzens G.* Fürst Trubetzkoy als Kulturphilosoph // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Bd. 11 (1964). S. 154–166; N.S. Trubetskoy's Letters and Notes /Prepared for publication by R. Jakobson, with the assistance of H. Baran, O. Ronen and M. Taylor.

The Hague; Paris: Mouton, 1975; *Trubeckoj N.* L'Europa e l'umanita: la prima critica alPeurocentrismo / Prefazione di R. Jakobson. Torino: Einaudi, 1982; *Клейнер Ю.А.* Н.С. Трубецкой: Биография и научные взгляды // Ученые записки высших учебных заведений Литовской ССР [Kalbotyra]. Т. 35 (1985). № 3. С. 98–110; *Топоров В.Н.* Николай Сергеевич Трубецкой – ученый, мыслитель, человек: К 100-летию со дня рождения // Советское славяноведение. 1990. № 6. С. 51–84; 1991. № 1. С. 78–99; *Кондратов Н.А.*

Н.С. Трубецкой: К 100-летию со дня рождения // Русский язык в школе. 1990. № 2. С. 98–103; *Журавлев В.К.* Н.С. Трубецкой: К 100-летию со дня рождения // Русская речь. 1990. № 2. С. 91–96; *Нерознак В.П.* Слово о Н.С. Трубецком: К 100-летию со дня рождения // Известия РАН. Серия «Литература и язык». Т. 49 (1990). № 2. С. 148–151; Николай Сергеевич Трубецкой: К 100-летию со дня рождения // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1990. № 3. С. 3–9; *Соболев А.* Князь Н.С. Трубецкой и евразийство // Литературная учеба. 1991. № 6. С. 121–130; *Liberman A.* N.S. Trubetzkoy and His Works on History and Politics [Postscript] // Trubetzkoy N.S. The Legacy of Genghis Khan and Other Essays on Russia's Identity. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1991. P. 293–375; *Робинсон М.А., Петровский Л.П.* Н.Н. Дурново и Н.С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «Дела славистов» (По материалам ОГПУ-НКВД...) // Славяноведение. 1992. № 4. С. 68–82; *Никишенков А.А.* Н.С. Трубецкой и феномен евразийской этнографии // Этнографическое обозрение. 1992. № 1.

С. 89–92; *Толстой Н.И.* Н.С. Трубецкой и евразийство // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 5–28; *Гумилев Л.Н.* Историко-философские труды князя Н.С. Трубецкого (Заметки последнего евразийца) // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 31–54; *Казнина О.А.* Н.С. Трубецкой и кризис евразийства // Славяноведение. 1995. № 4.

С. 89–91; *Кочергина В.А.* Н.С. Трубецкой-индоевропеист // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1998. № 5. С. 28–35; *Антощенко А.В.* Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938) // Историки России XVIII–XX веков /Ред. – сост. А.А. Чернобаев. М.: История-Сервис, 1998 (– Прил. к журналу «Исторический архив». Вып. 5). С. 106–121.

2 В частности, публикуемые в настоящей книге письма Трубецкого Сувчинскому.

3 См., например, сборник документов: Петр Сувчинский и его время / Под ред. А. Бретаницкой. М.: Композитор, 1999. Исключение составляет недавнее издание, весьма полезное с точки зрения как биографических данных о П.П. Сувчинском, так и с точки зрения анализа его взглядов: Pierre Souvtchinski, cahiers d'etude / Ed. par E. Humbertclaude. Paris: L'Harmattan, 2006.

4 The Letters of D.S. Mirsky to P.P. Suvchinskii, 1922–1931 / Ed. by G.S. Smith. Birmingham: Univ. of Birmingham, 1995 (– Birmingham Slavonic monographs, 26); *Smith G.S.* D.S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890–1939. N.Y.: Oxford Univ. Press, 2000; см. также богатый биографический материал в книге: *Святополк-Мирский Д.П.* Поэты и Россия: Ста-

ты, рецензии, портреты, некрологи / Сост., подгот. текстов, прим. и вступ. ст. В.В. Перхина. СПб.: Алетейя, 2002.

5 О Флоровском см.: George Florovsky: Russian Intellectual and Orthodox Churchman / Ed. by A. Blane. Crestwood, N.Y.: St Vladimir's Seminary Press, 1993; о Г.В. Вернадском см.: *Андреев Н. Г.В. Вернадский (20 августа 1887 г. – 12 июня 1973 г.) // Записки русской академической группы в США. Т. IX (1995). С. 182–193. Что касается П.Н. Савицкого, то в основном речь идет о статьях – введениях к повторным публикациям работ Савицкого. Характерно, что, например, в комментариях к недавно изданным дневникам В.И. Вернадского Савицкий назван «историком»; впрочем, основные эпизоды его биографии переданы там верно. См. о Савицком: *Вернадский Г.В. П.Н. Савицкий, 1895–1968 // Новый журнал. Кн. 92 (1968). С. 273–277; Дурновцев В.И., Кулешов С.В. Жизнь и судьба П.Н. Савицкого // Культурное наследие российской эмиграции, 1917–1940 гг. М., 1994. Кн. 1. С. 144–152; Дурновцев В.И. Петр Николаевич Савицкий (1895–1968) // Историки России XVIII–XX веков / Ред. – сост. А.А. Чернобаев. Б.м., 1999 (– Прил. к журналу «Исторический архив». Вып. 6). С. 111–123; Степанов Н.Ю. Идеологи евразийства: П.Н. Савицкий // Евразия: Исторические взгляды русских эмигрантов: Сб. ст. / Отв. ред. Л.В. Пономарева. М.: ИВИ РАН, 1992. С. 156–163. В последние годы вышло несколько серьезных исследований, посвященных Савицкому, например: *Быстрыков В.Ю. В поисках Евразии. Самара, 2007; Petr Nikolaevich Savitskii (1895–1968): A Bibliography of His Published Works / Ed. by M. Beisswenger. Prague: Národní knihovna ER, 2008 (– Bibliografie Slovanske knihovny, 72).***

6 О Карсавине см.: *Мажейкис Г.И. Савкин [Лев Платонович Карсавин] // Новый мир. 1991. № 1. С. 193–194; Соболев А.В. Полюса евразийства: Л.П. Карсавин (1882–1952), Г.В. Флоровский (1893–1979) // Новый мир. 1991. № 1. С. 180–182; Он же. Своя своих не познаша: Евразийство: Л.П. Карсавин и другие: (конспект исследования) // Начала. 1992. № 4.*

С. 49–58; Шидлаускас А. Биография Л.П. Карсавина // Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М.: Наука, 1992. С. 229–230; Филонова Л.Г.

Лев Платонович Карсавин: 1882, Петербург – 1952, Абезь // *Русские философы: конец XIX – середина XX века: Антология. М.: Книжная палата, 1993. Вып. 1. С. 243–255; Хоружий С.С. Карсавин и де Местр // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 79–92; Он же. Карсавин, евразийство и ВКП // Вопросы философии. 1992. № 2. С. 78–84. Следует добавить, что большая коллекция документов Л.П. Карсавина (писем и автобиографических материалов), хранящаяся в Департаменте музыки Французской национальной библиотеки (фонд П.П. Сувчинского), еще ждет своего исследователя.*

7 Автору этих строк представляется, что скорее верно второе. Трубецкой настаивал на том, чтобы держать Р.О. Якобсона в отдалении от евразийства, несмотря на его одаренность и близость его позиции евразийским взглядам. Для евразийцев, весьма озабоченных привлечением новых участников движения, его популярностью, участие Якобсона могло казаться опасным: Якобсон вызвал бы негативную реакцию самых консервативных эмигрантов. Характерно, что активное сотрудничество Р.О. Якобсона в евразийских изданиях началось после 1929 г., когда лидером движения стал П.Н. Савицкий, чуждый антисемитизму, а Н.С. Трубецкой и П.П. Сувчинский уже покинули ряды евразийского движения.

8 Биографию С.Н. Трубецкого см.: *Bohachevsky-Chomiak M. Sergei N. Trubetskoi: an Intellectual Among the Intelligentsia in Prerevolutionary Russia. Belmont, Mass.: Norland Publishing Company, 1976.*

9 *Lieberman A. Op. cit. P. 295.*

10 *Трубецкой Н.С. Финская песнь Kulto Neito как переживание языческого обычая // Этнографическое обозрение. Т. XVII (1905). № 2–3. С. 231–233; Он же. К вопросу о «Золотой Бабе» // Этнографическое обозрение. Т. XVIII (1906). № 1–2. С. 52–62; Он же. [Рец. на:] V.J. Mansikka.*

Das Lied von OgoiundHovatitsa. Finnisch-Ugrische Forschungen, VI, 1906 // Этнографическое обозрение. Т. XIX (1907). № 3. С. 124–125; *Он же*. [Рец. на:] Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа,

Вып. XXXVII, отд. 3, Тифлис, 1907 // Этнографическое обозрение. Т. XX (1908). № 3. С. 146–151. Эти студенческие публикации Трубецкого продолжались до 1914 г., после чего наступил перерыв, завершившийся в 1920 г., когда Трубецкой выпустил «Европу и человечество».

11 *Lieberman A.* Op. cit. P. 295.

12 Центральный исторический архив Москвы [далее – ЦИАМ]. Ф. 418. Оп. 91. Д. 418л. Л. 4–4 об.

13 В частности, Трубецкой опубликовал статьи: *Трубецкой Н.С.* Кавказские параллели фригийскому мифу о рождении из камня (-земли) // Этнографическое обозрение. Т. XX (1908). № 3. С. 88–92 (опубликована в год поступления в университет); *Он же*. Редедя на Кавказе // Этнографическое обозрение. Т. XXIII (1911). № 1–2. С. 229–238; *Он же*. О стихе восточно-финских песен // Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 1914. См.: *Топоров В.Н.* Николай Сергеевич Трубецкой – ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения) // Н.С. Трубецкой и современная филология. М.: Наука, 1993. С. пб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.